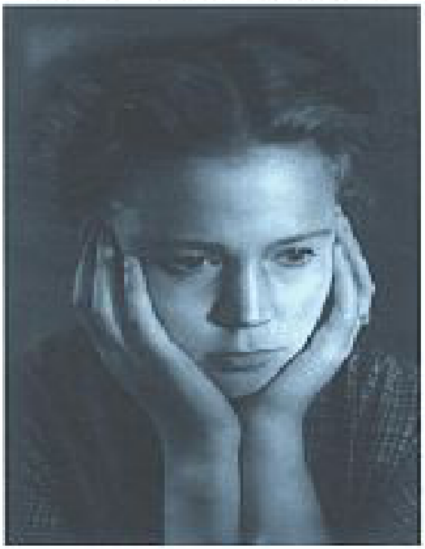
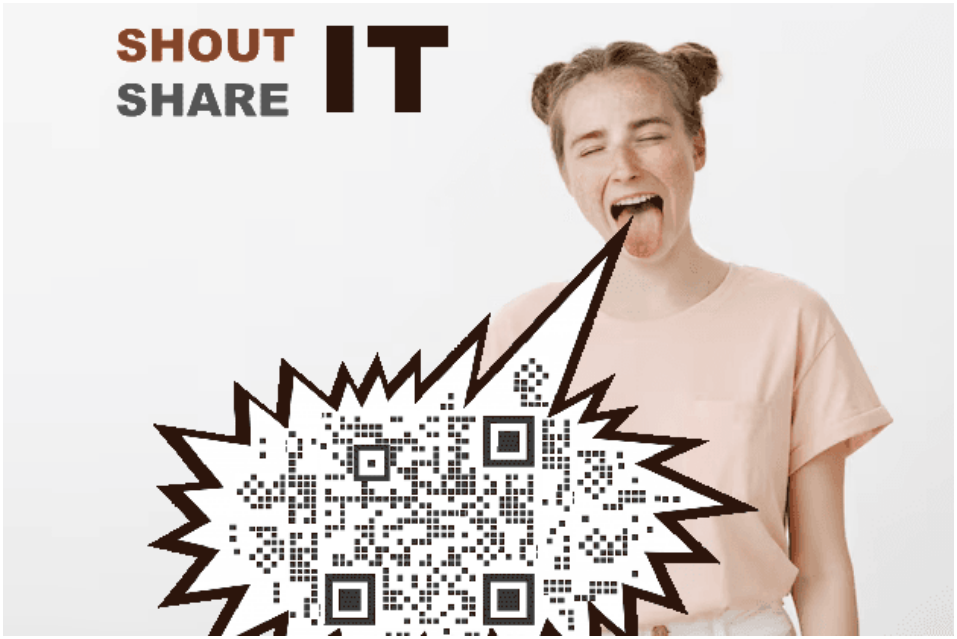
БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Иза Высоцкая



Короткое счастье на всю жизнь

Библиотека мемуаров


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

У Владимира Высоцкого было три жены. Людмила Абрамова, актриса, мать двоих детей (Аркадия и Никиты) великого артиста и поэта, живет в Москве. Марина Влади, тоже актриса, живет в Париже. А третья… Она же первая и единственная с его фамилией, неизвестна почти никому.

Иза Высоцкая — в девичестве Иза Константиновна Мешкова — окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году, старше Владимира Высоцкого на два курса. Работала актрисой в Киеве (театр имени Леси Украинки), в Перми, в Ростове-на-Дону, во Владимире, в Лиепае. В настоящее время живет и работает в Нижнем Тагиле.

- Иза Высоцкая
  - ○
  - ○ __
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5

Иза Высоцкая
Короткое счастье на всю жизнь

В зеркале высокого и непреходящего
прошлое значительно ближе настоящего…

БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Когда я чувствую твой взгляд сейчас, сегодня, мне кажется, что я хорошею…

Уезжая из Киева, я забрала с собой в Москву Володины письма. Они были в посылочном ящике, и их положили на антресоли в кухне вместе с моими, которые сохранил Володя. Для меня они так и лежат там, на 1-й Мещанской, дом 76, квартира 62, забытые, потерянные, может быть, уничтоженные… Не знаю.

Иногда они тревожат меня, и становится страшно от мысли, что кто-то посторонний может взять их в руки, прочесть, заглянуть в только нам принадлежащий мир, только нами пережитое, никому не доверенное. Их было много. В течение двух лет, что я работала в Киеве, мы писали каждый день, исключая, конечно, встречи.

Уже почти полвека прошло, как мы встретились, и больше двадцати лет, как тебя не стало. Но ни время, ни расстояние, ни смерть не отдаляют тебя. Все так же явственно ощущаю я твое живое присутствие.

Сначала меня уговаривали, потом я сама захотела попытаться доверить бумаге мое, а значит, и твое прошлое. Я люблю тебя.

Я родилась в 1937 году в январские холода в Горьком. Бабушка придумала мне блестящее имя Изабелла. Но отец по дороге в ЗАГС забыл «…беллу» и осталось короткое и непонятное Иза, о чем я долго не знала.

В детстве я была Изабелла Николаевна Павлова. Перед самой войной мы жили в Гороховецких военных лагерях. Самым замечательным и притягательным местом была там круглая танцплощадка с духовым оркестром, куда я часто проникала, и всякий раз меня вылавливали танцующую под ногами взрослых.

Помню, как, обидевшись на маму, я собрала свои вещи: зеленую плюшевую сумку-лягушку, зонтик от солнца и паровоз на веревочке — и ушла в дремучий лес. Нашли меня спящей на стрельбище под кустом. От того мирного времени остались фотографии: мама с букетом ромашек — пышноволосая, с милой улыбкой родных глаз, я с тем же букетом — очень строгая в белой кофточке и еще мы с папой. Он обнимает нас, и это называется счастьем.

Инна Ивановна Мешкова — моя мама. Она беззаветно любила и умела радоваться пустякам. 1940 год.

Потом была война. Папа ушел на фронт. Мы с мамой жили в Горьком в военном трехэтажном доме красного кирпича — бывшем монастыре. Когда спрашивали: «Где вы живете?» — так и отвечали: «В монастыре». Толстые белые стены его замыкали в себе белый храм, где давным-давно никто не служил, белую

высокую колокольню с молчащими колоколами, прочные приземистые дома, в которых когда-то жили священнослужители, а теперь просто люди, и разрушенное кладбище, на котором никого не хоронили, а совсем наоборот: мраморные памятники и надгробные плиты всех таинственно-заморских цветов были свалены в огромную угрюмую кучу, могильные холмики коряво срыты или просто разворочены, из склепов с приоткрытыми ржавыми дверями тянуло холодной сыростью, и туда было жутко заглядывать. Говорили, что на месте кладбища собирались сделать парк культуры и отдыха, но не успели. (В центре города уже был такой парк имени Куйбышева, но в народе его называли «парк живых и мертвых».)

Только одна могила стояла нетронутая с большим железным крестом в ограде с надписью «Мельников-Печерский». Потом, уже после войны, году в 47-м, за одну ночь появилась еще одна. Холмик, покрытый свежим дерном, и памятник красно-коричневого мрамора с детским профилем — Катюша Пешкова. Серебряным весенним утром привезли на черной машине сухонькую женщину в черном. Она постояла на могилке, усыпала ее ландышами, и ее увезли. А мы узнали, что Катюша Пешкова — дочь Максима Горького, в честь которого наш город из Нижнего Новгорода превратился в Горький.

В монастырских стенах у ворот были кельи. В них жили бывшие монашки. Мы ходили к ним тайно от родителей. У них были белая козочка и огромные диковинные книги в невиданных переплетах с серебряными замками и непонятными буквами. Некрещеная наша братия слушала жития святых и прятала в потайных местах «живые помощи».

На пустыре за монастырскими воротами мамы сажали «глазками» картошку. Все папы ушли на войну. Ждали треугольных писем, и когда было невмочь, кричали в прогоревшие печки родные имена. Верили: если жив, услышит и пришлет весточку. Жались друг к другу, делились последним. Шили детям марлевые платьица и в широком коридоре на третьем этаже устраивали детские спектакли.

Пели, смеялись и плакали. На Новый год в Доме офицеров устраивалась для нас роскошная елка: гирлянды, разноцветные цепочки и флажки, мандарины, конфеты прямо на елочных лапах, золоченые орехи и музыка.

Папа был десантник, комбат. Писем с фронта мы не ждали, только если из госпиталя. В бомбоубежище не ходили — папа не велел. Были случаи, когда бомбоубежища засыпало. Мы предпочитали смерть мгновенную. Город бомбили, особенно Окский мост, рядом с которым жила бабушка. В ночном воздухе

зависали светящиеся шары, становилось сиренево светло, и начиналась бомбежка. Дребезжали заклеенные крест-накрест стекла, и стоял удушливый вой. Мы с мамой болели малярией. Нас и без того трясло.

В один прекрасный день приехал папин адъютант Вовочка Зорин, накормил нас тушенкой и «подушечками», слипшимися в один пресладкий ком, и всеми правдами и неправдами привез — через темные вокзалы, длинные серые очереди проверок документов — в хмурую Москву, в Люберцы… к папе.

Николай Федорович Павлов — папа, который носил меня на руках. 1941 год.

Каждый вечер у нас собирались папины друзья. Они все казались мне бесстрашными героями, сильными, непобедимыми и веселыми. Они не любили пятницу, пели «Сады-садочки, цветы-цветочки, над страной проносится военный ураган», слушали «Муху-цокотуху» в моем исполнении и очень хвалили мамин борщ.

По утрам приходил полковой доктор и мазал мне глаза желтой клейкой мазью, приговаривая: «До свадьбы заживет».

Приходил Вовочка Зорин и садился на табурет у двери, а я забиралась к нему на колени. Щекоталась шершавая шинель, кожно пах ремень, и было так хорошо, что ни в сказке сказать ни пером описать.

Мы катались с ним на санках, лепили ватных клоунов на елку… Мы дружили.

Вовочка Зорин погиб. Я узнала об этом много лет спустя, когда у меня уже был сын. Он оставил ощущение светлой радости и щемящей потери.

Из окна нашей комнаты было видно летное поле. В дни учебных прыжков подоконник превращался в мой наблюдательный пункт. Иногда парашюты не открывались, и на следующий день я бежала за погребальными дрожками. На этих же дрожках привозили меня домой.

Отец пропал без вести в 1945 году. Мы верили, что он жив, и ждали…

Я рано научилась читать. Первая чудесная книга была без слов. На глянцевых черных страницах ее, переложенных папиросной бумагой, были цветные морские чудеса. Вторая книга — «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. «Вий», «Страшная месть», «Майская ночь, или Утопленница» — сладкий ужас. Я так пропиталась им, что даже днем, оставаясь одна, боялась шелохнуться, боялась дышать. А однажды, когда я затаилась на стуле, бесшумно открылась дверь и вошел папа в гимнастерке с чемоданом. Я бросилась к нему и потеряла сознание. Когда я очнулась, никого не было.

Еще приходила голова — бледная-бледная, с черными-черными глазами, длинной черной косой и очень красным ртом. Она даже говорила со мной: «Не бойся, я буду приходить к тебе,

ты только никому не говори». И я не говорила. Я упрашивала соседских девочек посидеть со мной, отдавала им свой хлеб. Они его брали и убегали.

В этот мучительный период страха бабушка повела меня в театр, во взрослый, оперный. Нас встретил разноголосый, тревожный и радостный гомон звуков. Потом все замерло и волшебная музыка унесла нас в мир грез. Огромный темно-красный занавес дрогнул и пополз, обнажая неведомую жизнь, где все поют, танцуют и красиво умирают. Это была опера «Кармен». В следующее воскресенье мы были на балете «Светлана» — что-то про партизан. Танец ошеломил меня, и незаметно ушли мои гоголевские страхи. Я стала танцевать всегда и всюду. Любая попавшая в мои уши мелодия превращалась в танец, и, даже засыпая, я продолжала сочинять танцевальный узор.

Бабушка очень любила меня, но я не оправдала ее надежд. Я не вышла замуж за генерала, у меня не было и нет дачи, и я не стала балериной.

К бабушке бегала я из нашего монастыря по длинной Красноармейской улице, затем по Почтовому съезду мимо приземистого «дома Кашириных»[1] с узким палисадником и крошечной красильней во дворе, выбегала на Маяковскую, там налево к Строгановской церкви, а потом — коротеньким переулком прямо к Волге (точнее, к Оке — чуть дальше они сливались, но почему-то говорилось и думалось «к Волге»), где и жила в бывших лабазах, приспособленных под человеческое жилье, моя бабушка.

Константин Павлович Мешков — папа, которого я не знала… 1942 год.

Бабушкина комната с дверцей под лестницей на чердак, крохотная, высотой пять метров с одним окном, выходящим на базар. На широком подоконнике весной стояли голубые подснежники и ландыши, летом васильки и ночные фиалки. Зимой окно затыкалось чем только можно и затягивалось плотной черной бумагой. С потолка свисала голая лампочка, и покрытые

инеем стены алмазно сверкали. Печку топили редко. Дрова покупали полешками, по три, когда богатели — по пять. Весной стены плакали тонкими струйками растаявших «алмазов».

Постель с горбатыми пружинами утеплялась бутылками с горячей водой, на одеяло набрасывалось все, что могло наброситься и согреть. Осторожно влезали мы в эту берложку, тянулись пятками к блаженному теплу, натягивали на голову одеяло и замирали. Тихо. Таинственно. Рядом теплая бабушка. Сладко пахнет душистый обмылочек под подушкой. «Кто едет, кто скачет…» — шепотом читает мне бабушка по-немецки «Лесного царя» или учит считать по-французски и незаметно засыпает. А я еще сражаюсь с немцами. Я летчица, как папа, конечно, побеждаю и, конечно, героически гибну. Слезы ползут на нос и, вволю настрадавшись, засыпаю тоже. Или танцую, и тогда в плавном кружении уношусь в страну сна.

Часов не было. Чтобы не опоздать на работу, бабушка несколько раз в ночь бегала к почте. Там под крышей были большие круглые часы. Поднимались затемно. Вскипятив на керосинке немного воды, пили ее маленькими бережными глотками. За пазуху мне пристраивался кусок хлеба — и разбегались. Бабушка через Окский мост в Канавино в тубдиспансер, где она работала, а я — через зябкий ужас кладбища — в монастырь к маме.

Перед тем как мне пойти в школу, меня отправили на лето к дедушке в город Выксу, чтобы я откормилась и окрепла. Ничего я о нем не знала. С бабушкой они разошлись в незапамятные времена. Дед был инженером на металлургическом заводе и почти не бывал дома. Вторая жена его совсем не обрадовалась моему приезду, и очень скоро оказалась я в стае местных мальчишек. В большом двухэтажном полдоме деда было неуютно, неприветливо, как будто там никогда не росли дети и никто не смеялся. На улице было больше жизни. Светило солнце, барабанили дожди, бродили козы. По заросшему парку разбегались таинственные тропинки, можно было на прутике жарить сыроежки или отыскать позднюю землянику. Я понемногу дичала. Косы не расчесывались, ноги и руки покрылись цыпками.

Рядом жил белоголовый мальчик Вовочка. Часто мы с ним вдвоем убегали в парк. Однажды наперегонки катали железный обруч. Он бежал впереди и вдруг упал. В памяти совершенно стерлись минуты, когда я поняла, что он не просто упал, а умер. (Оказалось — провис провод, его ударило током, и, падая, он ударился виском о камень.) Не помню — звала ли я на помощь, осталась с ним или убежала за взрослыми. Отчетливо помню Вовочкины похороны. Его мама не плакала, а все что-то

прихорашивала, поправляла у гроба и разговаривала с ним, как будто он заснул. После кладбища привели нас на поминки. Все что-то ели, пили кисель, и невозможно было понять, как это можно пить, есть, мыть посуду… И густо цвел в палисаднике шиповник.

Приехала мама, остригла меня наголо и повела на рынок. Купили стакан молока и лепешку и поехали домой.

В первый класс я пошла бритая, вместо портфеля — холщовая сумка с нарисованной масляной краской розой. Учительница была замечательная — высокая, худенькая, с аккуратным пучком седых волос на затылке и ласково-строгими глазами. Училась просто, легко и танцевала на всех школьных вечерах.

В 1946 году родилась сестренка Наташа. Ожидая маму и сестричку из больницы, я принялась за уборку — приносила в стакане воду из кухни, выливала на пол и растирала тряпкой и так много раз. Потом нашла пшенку и в самой большой кастрюле сварила кашу. Мама была очень тронута, а Наталка оказалась совсем крошечной, кашу не ела, и глаза у нее были туманно-синие. «Глазки-гонобобки, щечки-яблочки, губки-малинки», — говорила мама, совсем как когда-то говорила мне.

Бабушка сказала, что начинается набор в хореографическое училище при Оперном театре. Я пошла поступать. Меня попросили перейти по воображаемым камушкам воображаемый ручей и съесть из несуществующего кулечка несуществующие вишни, повертели во все стороны и приняли. Занятия проходили в самом театре: каждое утро мы вставали к станку и в фойе с колоннами танцевали менуэт, павану,[2] старинные танцы. С нами занимались мастерством актера, характерным танцем, музыкальной грамотой, французским языком. У каждой группы своя воспитательница — классная дама.

По воскресеньям нам позволяли смотреть дневные спектакли для детей.

Очень скоро мы научились прятать пальтишки в одной из кабинок зрительского туалета, запирая ее изнутри, пробираться на галерку и смотреть все, до чего мы «еще не доросли».

Меня покорил Демон. Унылая княжна вызывала недоумение. Под ее шагами сотрясались фанерные горы, пела она тоненьким голосом и не поддавалась ни на какие уговоры. А Демон был жгуче красив и страдал.

Папа, мама и я — просто счастье. 1942 год.

В конце учебного года был публичный выпускной экзамен. Открывали его первоклашки. Уже не сцену, а зрителя прячет от меня занавес. Зал превращается в тайну. Слышно его дыхание, шелест, но вот он замирает, занавес раздвигается — черная живая бездна смотрит мне в глаза. Ничего, что это всего-навсего незамысловатые па — это начало полета. Только в танце так полно, так жадно, так щедро я жила. Во всяком случае, я так помню.

Волк! А ты в это время жил в Германии с папой и Евгенией Степановной. Как часто, с какой нежностью она вспоминала это счастливое время: и как ты трюкачил на велосипеде, и как вы с мальчишками взрывали патроны в костре и чуть не погибли, и как ты уговорил ее купить высокие напольные часы с густым сладким

боем. Потом они отбивали время на Большом Каретном, на Кировской…

И ты не был тогда Волком, ты был Вовочка.

Нас стали занимать в спектаклях. Танец маленьких кули в «Красном маке»: на голове тяжелые конусообразные шляпы, чем-то пропитанные и чем-то покрашенные, стоило кому-нибудь мотнуть головой, как вся длинная цепочка, стоящая на выходе, начинала раскачиваться, шляпы цеплялись друг за друга, и наши тонкие шеи не справлялись с ними. В «Докторе Айболите» мы были и обезьянами, и пионерами.

Из Москвы приезжали Галина Уланова и Майя Плисецкая. Они танцевали в «Бахчисарайском фонтане». Совсем рядышком из-за кулис видели мы воздушно-нежную Марию и певуче-страстную Зарему. Петь в «Травиате» приезжал высокий, худой, забинтованный в шарф, отстраненно-галантный Иван Семенович Козловский.

Нас было немного, и почти все из бедных семей. У одной девочки папа был начальником тюрьмы. Она приносила неприлично вкусные завтраки. Иногда мы ездили в тюрьму с концертами, с радостью — там нас кормили.

В послевоенные годы жилось очень трудно. Мама часто болела. Наталка совсем маленькая, я тоже не очень большая. Когда мне исполнилось одиннадцать лет, нам пришлось перебраться к бабушке. Зимой я носила чьи-нибудь старые валенки, летом чьи-нибудь босоножки. Нога у меня росла как-то очень быстро. Бабушкина подруга подарила мне свои прекрасные, чудом уцелевшие довоенные туфли на каблуках — пришлось форсить. На улицах стояли бочки селедочной икры — с черным хлебом и луком — вкусно, язык проглотишь. На рынках в таких же бочках парёнка из свеклы — тогдашний мармелад.

Однажды на занятиях я упала в обморок. На следующий день педагог по классике отвела меня в учительскую, вручила круглую белую булку с маслом и медом и резко приказала: «Ешь!» — было вкусно и горько.

Рядом с Оперным театром был детский дом для одаренных детей. Там жили девочки и мальчики — рисующие, поющие, танцующие — круглые сироты, а я была не круглая. Маму уговаривали отдать меня туда, только для этого нужно было оформить «отказ». Мы сидели вечером: мама, бабушка, я (Наталка спала) — и решали, как нам быть. Мы с мамой были в этом детском доме. Там тепло, хорошее питание, дети одеты и обуты, и если я буду там, мне будет хорошо. И одну Наталку растить гораздо легче. Потом мы смеялись и плакали и решили погибать

вместе.

С другом Вовой Бовиным. Фотография — единственное свидетельство этой дружбы. 1940 год.

Как-то вдруг училище закрыли. В скверике у театра на широком постаменте памятника — не помню кому — три девочки: Нина, Риммочка и я написали письмо Сталину, тайком от взрослых отправили и стали ждать. Мне было уже тринадцать-четырнадцать лет, когда приехала комиссия из Москвы и

Молотова. Ниночку взяли в Молотов, Римму взяли бы куда угодно, но помешала сильная близорукость, а я слишком длинная, что со мной делать, если вырасту еще? — разве что в педагоги. Меня брали на два условных года в Молотов. Бабушка светилась счастьем, а я струсила. Я не хотела быть педагогом. Я хотела танцевать. Расти я не перестала, и наступил момент, когда ни о каких детских партиях не могло быть и речи, а для соло не хватало школы.

Я ушла из театра в другую, почти незнакомую мне жизнь.

А ты, Володечка, уже вернулся из Германии и жил на Большом Каретном. В вашей мальчишеской компании еще не было девочек. Вы торчали в Эрмитаже и, кажется, ты уже занимался в драмкружке у В. И. Богомолова.

В жизнь без театра, без его музыки, волшебства и репетиций я вошла с другим именем, отчеством и фамилией. Мама долго не могла мне объяснить, почему мне выдали паспорт с записью черной тушью: Иза Константиновна Мешкова. (Так значилось в моем свидетельстве о рождении, я никогда его не видела.) Николай Федорович Павлов — папа, который носил меня на руках, погиб, защищая меня и маму, оказывается, не был моим родным. Это неправда, этого не может быть — он и сейчас, через тысячу лет, родной, любимый — навсегда. Константин Павлович Мешков — первый мамин муж — после военного училища участвовал в финской и Великой Отечественной войнах, погиб в 1942 году. Мама пыталась мне растолковать, что за без вести пропавшего я бы не получала пенсию и мы бы все пропали. А уж как было с документами, так и не знаю. Просто у меня стало два отца. Оба погибли. Пропасть без вести — все-таки пропасть. В школе все меня звали по-прежнему. И только на выпускном вечере, при вручении аттестата зрелости была долгая пауза после фамилии Мешкова.

В прямоугольном зеркале на железной ноге обнаружила я бледную девочку. Светлые глаза, то ли голубые, то ли серые, светлые брови и ресницы, бледный рот с чуть припухшей нижней губой и облако светло-рыжих волос. И веснушки. Раньше зеркало нужно было, чтобы гримироваться. Восхитительный процесс преображения. Коробки грима, полагающейся на год, нам едва хватало на месяц. Особенно ответственная процедура — крап. Черный грим на растушевке подносится к лампочке, начинает таять, вот тут-то быстренько надо было нанести его на ресницы. Глаза, окаймленные траурными комками, как бы расширялись, становились взрослыми и, что самое страшное и притягательное,

порочными.

Ах, как хотелось огромных черных глаз, тонких, с изломом, соболиных бровей и волос, как ливень! Правда, если посмотреть в зеркало подольше, то сквозь бледность пробивались краски: розовели щеки, оживали губы, зрачки расширялись, и желанно темнели глаза.

Все, что в зеркале не умещалось, меня не беспокоило. По совету бабушки я прятала длинные ноги подальше под стул, чинно складывала длинные руки на коленях, но на чуть-чуть, когда приходили взрослые и надо было выглядеть прилично. Тело тосковало по танцу и в любую минуту могло вырваться на свободу. «Неглиже с отвагой, — называла меня бабушка и добавляла: — Ум-то у тебя есть, разума нет».

Одноклассницы уже чинно прогуливались с мальчиками по копеечной стороне Свердловки (по рублевой плыли взрослые), посылали друг другу записки и даже целовались. Я много знала про любовь из опер и запретных писателей Г. Мопассана и С. Цвейга. Ухаживали за мной два мальчика. Лохматый Толя читал стихи о прекрасной незнакомке («Дыша духами и туманами…» — невозможно красиво) и водил в заветный уголок на набережной, откуда особенно хорошо были видны чарующие закаты. Алик писал жестокие рассказы. В них ветреных, неверных женщин убивали страстные верные любовники, и еще он играл на пианино — с ума сойти. Три подружки — Лилечка рыжая, Лилечка черная, обе маленькие, хрупкие, и длинная я — лазили по крутым склонам, подставляя лица ветру левобережья, травяному, вольному, озорному, и пели: «Чуть белеют левкои в голубом хрустале». Однажды мы чудом попали в Дом офицеров на концерт знаменитой Изабеллы Юрьевой. Сбежали после первого отделения, давясь от смеха. Дурочки. Мы не знали, что в первом отделении всегда исполнялись только патриотические песни про партию и Родину и только во втором — про любовь.

По ночам придумывала я себе роковую безумную любовь. Финал этих романов всегда получался печальным, но непременно появлялся ребенок, мальчик или девочка — все равно. И жили дальше мы с ним одни и любили друг друга преданно и нежно.

Юра Жуков был братом Лилечки рыжей. Стройный, высокий, узколицый, пепельные волнистые волосы, серые, в пушистых ресницах глаза, крупный рот, готовность вклиниться в любую драку — на нем была летная форма.

Я и не догадывалась, что он существует.

Лилина мама Анна Сергеевна работала администратором в гостинице — сутки на работе, двое дома, и потому мы собирались в их квадратной комнате с окнами на Волгу. Места было много.

По стенам три кровати: две под серыми солдатскими одеялами, третья — зефирно-розовая, атласная, стол посередине. Тумбочка, стол кухонный, несколько стульев — вот, кажется, и все. Собирались делать уроки, но в отсутствие Анны Сергеевны больше дурачились: танцевали, гадали на картах, болтали о своем, о девичьем, переписывали тайные (запретные) стихи, мелкобуржуазные, декадентские: «Сжала руки под темной вуалью…». Особенно восхищала нас «терпкая печаль».

Когда же Анна Сергеевна была дома, то она грациозно возлежала в живописном кимоно на атласной своей постели: рядом коробочка конфет или плитка шоколада (подношения приезжих) — и царственно, но не щедро, позволяла нам взять по конфетке, и так же царственно, но щедро отдавала распоряжения — что сделать, что принести. Она умела из ничего соорудить себе очаровательный наряд, кокетничала даже сама с собой, и, очень женственная внешне, нрав имела непреклонный.

Мне 5 лет. Уже идет война. 1942 год.

Очень редко, но гордо называла себя «вдовой офицера», никогда ни на что не жаловалась и не падала духом. Иногда

Лилечка показывала нам заветную фотографию: три девочки в хитонах стояли в изящных позах — «три грации». Анна Сергеевна в детстве занималась у Айседоры Дункан.

И вдруг появился он. Вернулся из армии. Лилечка сказала, что у него были какие-то неприятности из-за дочери командира и теперь ему «ужасно тяжело», мы должны помочь. Помогать принялись тут же. В советчицы позвали Фаечку. Она была постарше нас, в ней ощущались женщина и жизненный опыт. Ее и решили назначить подругой Юры. Лилечка черная была младше всех и вообще маленькая, а про меня просто забыли в моем же присутствии. Это было обидно.

Дома, в очередной раз обратившись к зеркалу и не получив утешения, заплела я туго-натуго свои непослушные волосы на прямой пробор и окончательно убедилась, что роковой, таинственной женщины из меня не получится.

Теперь мы приходили к Лилечке рыжей делать уроки, потом внезапно вспоминали о важных делах и разбегались, оставив Юру наедине с Фаиной. План провалился, зато Анна Сергеевна приметила, что мое присутствие делает ее сына домоседом, и она стала усиленно приглашать меня, внушая, что Юре необходимо мое благотворное влияние.

Пришлось присутствовать, изображая полную индифферентность, и даже прогуливаться с ним по зябкой набережной.

Подходил к концу последний учебный год. Выпускные экзамены, выпускной вечер. Усилиями мамы и Анны Сергеевны обрядили меня в шифон цвета чайной розы, и, натанцевавшись вволю, попрощалась я со школой. Что дальше?

Случайно на улице мы с Лилечкой наткнулись на объявление: «Желающие поступить на актерский факультет Школы-студии имени Немировича-Данченко при МХАТе СССР им. М. Горького, должны прийти туда-то и туда-то на прослушивание». Что такое театр драматический, я, конечно, знала, но плохо. Лиля убеждала, что надо идти: «Какая-никакая, а все-таки сцена». У нас был прекрасный педагог по литературе Н. Л. Рат. Мы знали намного больше школьной программы и часто на уроках читали пьесы по ролям. Память у меня была прекрасная. Решили, что надо читать последний монолог Нины Заречной: «Зачем вы говорили, что целовали землю, по которой я ходила?..», стихотворение Маяковского «Блек энд уайт» и какую-нибудь басню. Продумали внешний вид: юбка черная в складочку, кофточка гипюровая белая, за. неимением туфель — тапочки, скромно и достойно. Волосы забрать в хвост.

В назначенный день собралось сто двадцать человек, больше

девочки. Слушали нас приехавшие из Москвы директор Вениамин Захарович Радомысленский, педагог Виктор Карлович Монюков и директор Горьковского театрального училища Лебский.

После утреннего прослушивания наши ряды сильно поредели. Нас отпустили пообедать и снова принялись слушать, после чего оставили четырех девочек и слушали опять. Меня слушали долго, просили то почитать сидя, то стоя, то на ходу, то что-нибудь смешное. К счастью, вспомнила монолог Липочки из «Урока дочкам» Крылова. Все посмеялись и выставили нас за дверь. Минут через двадцать нас стали приглашать поодиночке. Девочки выходили счастливые и, задыхаясь, сообщали: допущены до третьего тура в Москве.

Папина открытка… самодельная из госпиталя… «Вот, когда вырастешь большой-большой, тогда будешь вспоминать о прошлом и вспомнишь о своем папе…» Я и вспоминаю… 1942 год.

Меня вызвали последней. «Мы берем вас, — сказали мне. — Можете сдавать общеобразовательные предметы в любом институте Горького, нам привезете справку к началу занятий. Вопросы есть?» У меня был только один вопрос: «Общежитие???»

— «Будет вам общежитие. Мы все поняли по вашим тапочкам». И я полетела на крыльях шального успеха, не чуя ног. В городской газете напечатали сообщение: «Выпускницу 31-й школы И. Мешкову приняли и т. д.».

Бабушка возликовала и заметалась в сборах. Мама плакала и причитала, что я погибну, потому что ровным счетом делать ничего не умею, в голове у меня ветер и вообще умру с голоду. Анна Сергеевна и Лилечка сурово объяснили Юре, что ехать я обязана, такое бывает раз в жизни, а если любовь настоящая, то никаких расстояний и разлук она не боится.

Двое суток в очереди за билетом — и вот уже вокзал, и уплывают родные лица, и поезд мчит меня в Москву. Всего год назад Николай Львович возил нас в Москву на экскурсию. Мы были в Третьяковской галерее, Музее имени Пушкина, попали даже в Кремль в Грановитую палату, были на ВДНХ, в Доме-музее Николая Островского. В Третьяковской галерее на всю жизнь приворожил меня Врубель. Демон поверженный и тот, что сидит, обхватив руками колени, глядя в вечность, обреченный, отрешенный, неприкаянный. И сирень — манящая и пугающая. А в Египетский зал Пушкинского музея на Волхонке до сих пор вхожу под свод веков великого молчания с дрогнувшим сердцем.

Но тогда была экскурсия. А теперь одна, и надолго. Москва огромная, серая, с узкой в бетоне Москвой-рекой.

Берега моей Волги заросли ежевикой, лопухом и крапивой в плафончиках белых вьюнков. По весне прямо у пристаней останавливались табором цыгане; пестрые юбки кружились вокруг загорелых ног, и стайки чумазых цыганят, приплясывая, клянчили копеечку. На Верхней набережной вечерами вздыхали духовые оркестры, можно было танцевать даже на аллеях. И рядом мама, бабушка, маленькая Наталка и Лили — рыжая и черная.

Очень неприкаянно было мне в Москве, Володечка.

Первокурсников было двадцать пять человек. За время экзаменов они успели перезнакомиться и сдружиться. Я была новенькой и первое время вызывала острое любопытство, что еще больше сковывало меня.

Но ничего так не сближает, как общежитие. Знаменитая Трифоновка. Не то домики, не то бараки, облупленные, неказистые. Сколько они вмещали мечтаний, надежд, горьких слез, радости, ночного шепота — жизни. Семь девочек, семь кроватей, семь тумбочек. Трое уже на втором курсе — их кровати у окон, мы — первокурсники — ближе к двери. Забегали к нам

мыши, прискакивали лягушки, заливали дожди. Но каждое утро вылетала веселая стайка отутюженных, умытых и причесанных девчонок, впрыгивала в звенящий трамвай и превращалась в «зайцев».

В студии были ужасные строгости. В первый день занятий, усадив нас полукругом перед великими МХАТа и выслушав наши имена: Генриетта, Карина, Маргарита, Эльзонита, Аделаида, Иза, — руководитель курса Георгий Авдеевич Герасимов сказал: «Ну, куда же с такими именами, как не в актрисы!» Галя, Наташа, Нина, Вера смягчали экзотику пышного букета наших имен. В одежде тоже надлежала строгость, в прическах — аккуратность и естественность, макияж практически исключался, особенно преследовались яркие помада и маникюр.

Мне 10 лет, а Наталке всего год. 1947 год.

Нас шлифовали со всех сторон. Искореняли говор, белый звук, округляли гласные, оттачивали согласные, расширяли диапазон, бесконечно «ехал грека через реку» и «лавировали корабли». Заново учились ходить, сидеть, падать, драться на палках, занимались акробатикой, учились быть ритмичными и пластичными, занимались танцем: «Держите спинки, тяните ножки».

Весь день, с девяти утра до одиннадцати вечера, пропадали в студии. В короткие перерывы бегали на угол улицы Горького в булочную за сладко пахнущей калорийкой. Если обедали, то внизу в столовой или в кафе «Артистическое», попросту «Артистик». Там пили бульон из больших белых чашек, в богатые дни с пирожком, чаще — просто с хлебом, просили яичницу «по-тархановски» — с черным хлебом — и вкусно, и сытно. В дни стипендий на каждом углу покупали копеечные жареные пирожки с повидлом, печенкой, капустой, рыбой — с чем попадется. Изредка делали набеги в Столешников переулок — заварные эклеры — предел мечтаний.

Из меня «выбивали» балет. На курсовых капустниках показывали, как подхожу я вывернутыми ногами к партнеру, становлюсь в третью позицию и, плавно взмахнув руками, опускаю их ему на плечи. Георгий Авдеевич, побывав на занятиях по танцу, пришел в благородное негодование: вместо того чтобы заниматься тяжелым, возвышающим трудом, я машу ногами невесть куда и безнравственно улыбаюсь.

Господи, господи! Как тоскливо порой мне было в этом святом почитании драматического искусства, где просто ходят, как в жизни, говорят, как в жизни, и нет у них музыки, пачек, пуантов, сценического простора. Вечно чего-то наставят, нагородят — скучно.

Кажется, тогда я и посмотрела первый драматический спектакль — «Три сестры», во МХАТе, конечно. Смотрела я эту чужую далекую жизнь, и почему-то вдруг стало нестерпимо жалко этих сестер, а еще больше себя — и я заплакала.

Приближалась зима. Лужи покрылись мерзлой коркой. На ногах — черные лодочки, на плечах — с великими жертвами купленная бабушкой в рассрочку шуба из суслика. Она трещала и рвалась, как бумага, и сколько ни штопай, где-нибудь да торчал

пестрый клок. Расстелили мы эту шубу на полу в надежде выкроить хотя бы жилет, но получились только стельки. Чем сильнее были холода, тем стремительнее становился мой бег. В студию влетала со стеклянными ногами, и кто-нибудь из мальчиков оттирал их ладошками.

Стипендия слишком быстро тратилась, а заработать можно было только ночью на киностудии, куда вход нам, студентам, был запрещен. Предприимчивая чаровница Маргоша уговорила меня рискнуть, ссылаясь на свой ленфильмовский опыт. В костюмерной Мосфильма наспех одевали массовку. Маргоша оказалась в сереньком незаметном платьишке, в неброском платочке, а я в платье красном, как флаг. В огромной студии стоял пароход, молодежь плыла в светлое будущее с бодрой песней и героиней в центре. Снимались последние кадры фильма «Доброе утро». Мы с Маргошей старались затеряться в толпе, спрятаться за спины… Но не тут-то было. Рупор громкоговорителя гулко изрек: «Красное пятно, встаньте ближе, еще ближе, центрее». И вот я уже сижу, мертвая от страха, рядом с Татьяной Конюховой. Больше года, пока не вышел фильм, жила я под страхом разоблачения и исключения, а когда он вышел, никто и не заметил мелькнувшее красное пятно, даже мама не узнала. Странно, может быть, но никогда мне не хотелось сниматься в кино, и фотографий я своих не любила — слишком неродными они казались.

Мое тело тосковало по танцу. Всюду музыка и всюду танец. Пионерлагерь. Село Кадницы. 1948 год.

Иногда по ночам, когда не спалось, и сессия далеко, и в комнате тусклый мягкий полусон, девчонки подолгу шептались, делились тайнами.

В одну такую исповедальную ночь я рассказала, что мечтаю о ребенке, и это всем страшно понравилось. Решили рожать,

девочку или мальчика, какая разница. Все будет замечательно, потому что все будут помогать растить и воспитывать. То, что в Горьком был Юра и мы с ним должны пожениться, не то что забылось, а отодвинулось далеко-далеко…

Ребенок нужен был немедленно, и я поехала к однокурснику Коле Завитаеву, мальчику со взрослым лицом, иронической улыбкой и недетским опытом во взгляде. На лекциях он садился рядом, и близость его тревожила меня. Я бывала у него дома. Москвичи часто приглашали ребят из общежития. На сессиях все, как правило, разбивались на группки и готовились у кого-нибудь дома, где чаще всего и подкармливали. Колина мама с темными обжигающими глазами, неистово любившая сына, кормила меня эклерами и все куда-то спешила. Отец появлялся редко, всегда был хмур и отделен, а вот бабушка — просто очарование. В ней текла французская кровь, и она никак не давала ей угомониться. Если бы Пиковая дама могла щебетать, сочинять вальсы и упоительно играть их на стареньком фортепьяно, если бы Пиковая дама любила делать веселые сюрпризы и обожала детей, она была бы очень похожа на Колину бабушку, тщательно завитую, в буклях, с длинными нарисованными жирным карандашом бровями и орлиным носом. Еще она пекла крохотные торты. На Новый год мне был подарен тортик с розетку, совсем настоящий, с рогом изобилия, с розочками с горошину из крема. К торту прилагалась записка: «1 000 000 на мелкие расходы».

Я приехала вечером и решительно позвонила. Дверь открыл Коля, и я с порога стала уверять его, что он мне совершенно не нужен и может ни о чем не беспокоиться, я никогда-никогда не попрошу у него помощи — мне нужен только ребенок. Мгновение испуганной тишины — и я получаю первую в жизни пощечину. Столбенею, давлюсь самым страшным ругательством: «Фашист!» — и бросаюсь вниз по лестнице, на улицу, под машину, под троллейбус, куда угодно, куда-нибудь. Коля бежит за мной, за нами летят гудки и проклятия водителей. Наконец мы в сугробе. Я отчаянно вырываюсь — свисток милиционера и приглашение пройти в участок. Начался роман.

Моя прекрасная бабушка — Клавдия Степановна Герасимова. Она так верила в меня…

Колина бабушка получила крохотную комнатку в полуподвале на улице Горького, холодную, как военное детство. Она почти не жила там, только заботливо пополняла запасы кофе, варенья, чего-нибудь вкусненького. Мы укрывались там. Таскали из кухни раскаленные кирпичи для обогрева и пили обжигающий кофе. Иногда сидели в уютном кафе-мороженом, запивая

разноцветные шарики прозрачно-зеленым, как изумруд, ликером. Однажды были в ресторане «Москва», а потом на его широких ступенях — никто не помнит, по какому поводу — завязалась многолюдная драка, и мой жилет-разлетайка в руках Коли флагом реял то в одном конце дерущейся толпы, то в другом. Милиция приехала мгновенно. Всех быстро погрузили в крытые грузовики. Я умолила прихватить и меня. Ночь перед экзаменом по русской литературе мы провели в «полтиннике». Перезнакомились и даже подружились — все оказались либо из театрального, либо из юридического. На рассвете нас выпустили; посидели в скверике, умылись газировкой и славно сдали экзамены. Ездили в Загорск, в старую деревянную гостиницу с огромным фикусом в кадке и скрипучей лестницей — там можно было получить номер просто за деньги, без штампа в паспорте. Бродили по святым местам и предавались блуду, и было страшно, таинственно, запретно. Еще была тяжелая темная книга с репродукциями Рубенса, Рембрандта — всё истома, всё нега и вожделение. Смотреть вдвоем неловко, а не смотреть невозможно. Почему — не знаю, не помню — мы трагически ссорились и трагически мирились, и понимала я, что творю ужасное и кругом виновата.

К концу второго курса Коля попал в больницу с сердечным приступом, а подлечившись, был отправлен в санаторий в Ялту. Я получала мрачные письма с требованием срочно приехать, иначе… дальше шли угрозы, леденящие душу. Вслед за письмами примчались телеграммы. Но как уехать — надвигалась сессия (самая важная, потому что два первых курса были испытательными и только на третьем курсе студент мог чувствовать себя окончательно полноправным), и денег не было совсем.

Не умеющая хитрить и просить, я вдруг проявила чудеса наглости и изворотливости. Кто-то сказал, что у Виталия Яковлевича Виленкина, который вел историю МХАТа, сестра — врач в глазном институте. Кинулась к нему. Он с великой готовностью пишет записку, по которой немедленно принимает меня милая, добрая его сестра, обнаруживает у меня солнечный конъюнктивит и дает справку, разрешающую перенос экзаменов. Милейший и добрейший Вениамин Захарович Радомысленский напутствует меня ехать в Горький к маме, отдохнуть, подлечиться и вернуться с новыми силами.

Колина мама везет меня на Курский вокзал, достает через знакомых билет и сажает в поезд. Еду спасать — срок справки семь дней.

Никогда не была я на юге, не видела моря и всего разом

цветущего и дурманящего изобилия. Белая акация, сиреневая глициния, белее белого магнолии — ликующая роскошь природы. Могучее дыхание моря, от которого ни глаз, ни ног не оторвать. Бархатные звездные ночи. Стрекот цикад.

Мой приезд не принес мира. Ночами не раз мчались мы с горы наперегонки топиться, но как-то не успевали добежать — или падал Коля, вспоминая про свое сердце, или я, вспоминая о его сердце.

Дни таяли. Возвращаться было не на что, обещанные Колиной мамой деньги не приходили. Тогда я отправила в студию телеграмму с просьбой продлить мой отпуск. Через день получили ответ: «Немедленно возвращайтесь, в противном случае — отчисление». Продали мое платье чайной розы со школьного бала, чудом купили билет, и — так и не выяснив отношений — позорно возвращаюсь я на Трифоновку. Следом вернулся Коля. Нас вызвали в кабинет Вениамина Захаровича, где собрались руководители курса, и задали всего один вопрос: «Просил ли меня Коля приехать к нему?» Он молчал. Я закоченела и окаменела. Не дождавшись ответа, мое преступление было классифицировано как «любовный вояж», и мне было предложено за оставшуюся неделю сессии сдать все экзамены и, если сдам без единой тройки, мне позволят остаться. Роман кончился.

Первый экзамен — история МХАТа. Снедаемая стыдом, перешагнула я порог аудитории и, не поднимая глаз, взяла билет. Повисла жуткая тишина, и белый свет померк. С трудом подняла я голову и встретила взгляд Виталия Яковлевича такой нечеловеческой доброты, что тотчас начала оттаивать и что-то лепетать сквозь слезы. Виталий Яковлевич одобряюще кивал, быстренько поставил мне пятерку и отпустил так ласково и меня, и мои грехи.

Странно, очень странно, но все педагоги были так снисходительны и великодушны, что через неделю в моей зачетке были одни пятерки.

Все так же щедро несла свои воды Ока Волге, так же в Блиновском садике у речного вокзала желтым песком посыпали дорожки и пряно пахли бархатцы и душистый табак, в фонтане барахтались дети, а по вечерам играли духовые оркестры. Подружки разъехались, сестренка — в пионерлагере, Жуковы перебрались в Таллин. Вялым скелетом бродила я по родным местам, и ни заросли ежевики, ни кремлевские склоны, умытые ветром, не радовали меня.

Из Таллина приехал Юра. Под плеск Оки и шуршание гальки я открыла ему всю страшную правду о себе. Я готова была остаться одна во всем мире до самой смерти, а Юра смеялся

глазами из-под пушистых ресниц, водил в кино и дарил крошечные стальные самолеты собственного изготовления.

В конце лета мы поженились просто и тихо, и у меня появилась новая фамилия. В студию я вернулась страшно серьезная, с гладко, насколько возможно, зачесанными волосами замужней женщиной. Мне было девятнадцать лет.

Ты прости меня, Володя, что я пишу так откровенно. Мне все равно, что подумают, что скажут люди. Я уже в таком возрасте, когда все можно. Вот только страшно опозориться перед Глебом. И все-таки пишу.

В студии появился юркий, как ртуть, вездесущий новый курс. С лестницы, чуть подпрыгивая, носками врозь, счастливо улыбаясь, сбегал румяный мальчик в пиджаке в пупырышек. Его звали Вовочка, Володя, Вовчик и даже Васек. Ему было восемнадцать лет.

Я — студентка Школы-студии МХАТ. Первая московская фотография. 1954 год.

Он весь — радостная готовность помочь, подсобить,

выручить, просто так поздороваться, и все пупырышки на его многоцветном пиджаке озорно подмигивали.

Таким я увидела тебя в первый раз.

На нашем курсе кипят страсти. ЦК комсомола посылает от всех театральных вузов Москвы концертные бригады на целину. Хотят все! После Ялты меня не берут. Замечательный, чудный, добрый Владимир Николаевич Богомолов (на втором курсе он готовил с Сашей Лукьяновым и мной душещипательный отрывок про несчастную любовь) кидается к Вениамину Захаровичу и ручается за меня. Еду! Едем!

Грета Ромодина, Карина Филиппова, я, Леша Одинец, Витя Егоров, Володя Пронин, Коля Завитаев и еще двое ребят из Гнесинского, один студент с постановочного — вот наша бригада. Торжественные проводы, серьезные и смешные наставления, шальные отъезжающие. Поезд тронулся, и мы, совершенно безнадзорные, совершенно самостоятельные, на полтора месяца становимся целинниками.

Через неделю, опоздав всего на сутки, мы приезжаем в Павлодар.

Несколько дней живем в драмтеатре вместе с бригадой Щукинского училища. Местные актеры радушно опекают нас и закармливают дарами огородов. Первый бесплатный концерт на летней площадке в парке. Испуганные бесплатностью зрители и до ужаса трясущиеся мы. К концу выступления все пришли в себя, и мы и зрители, — боевое крещение состоялось.

В полуторке, крытой брезентом, мчались мы по степному бездорожью, обгоняя перекати-поле, по шесть — восемь часов от одного совхоза к другому. Концерты давали в столовых, недостроенных домах, под шатром небесным. Целинники, все больше молодежь — москвичи, ленинградцы, сочинцы, встречают нас бурной радостью, делятся удачами и бедами — послеконцертные беседы за полночь, а утром все та же полуторка с ласковым именем «Маруська». И степь бескрайняя.

Мы пили пузыристый шипящий кумыс, мылись в Иртыше, когда шел снег, дивились на огромные горы зерна на токах, терялись в степи.

На заключительном концерте в Павлодаре местное начальство горячо благодарило «Московскую художественную академическую самодеятельность за культурное обслуживание».

Переполненные впечатлениями, наглотавшись чистейшего ветра, с чувством выполненного долга вернулись мы в студию.

Первый курс окончательно освоился и растрепал некоторую

традиционную чопорность.

Виктор Карлович Монюков приступил к дипломному спектаклю «Гостиница „Астория“», и нам понадобился солдат, кажется, бессловесная, но очень ответственная роль. «Кого? Кого же нам пригласить с младших курсов?» — и очень дружно все сказали: «Вовочку. Вовочку Высоцкого».

У меня были свои взрослые проблемы. Я очень старалась быть замужней женщиной. У кого-то из девочек взяла длинную косу и, на манер Маргариты Володиной, укладывала ее вокруг головы или в тугой пучок. Любимое черное строгое-строгое, облегающее-облегающее платье. На воротничке-стоечке — полоска горностая, подарок бабушкиной подружки «из бывших». Горностай пожелтел от древности, но что-то от царской мантии в нем было. Я носила это платье почти всегда, снимая только для стирки. Так, под звуки «Болеро» Равеля, звучавшего у меня в душе, отгородилась я от всего несерьезного незамужнего мира.

Общежитие на Трифоновке. Слева направо — Ада Петренко, Галя Грозина, сестра Наталка, я, мама, Наташа Антонова. Скоро будут оладушки. Москва. 1955 год.

У нас были чудные педагоги. Мы восторгались ими, некоторых обожали. Они влюбляли нас в живопись, танец, музыку, театр, жизнь. Умели быть друзьями, оставаясь недосягаемыми идеалами.

Руководитель курса Георгий Авдеевич Герасимов, по-нашему ГАГ, был самым яростным ревнителем моральных устоев и девичьей скромности. На наших вечеринках очаровательно пел что-то тюремное: «А слезы капают, подружка, постепенно по исхуда-а-а-лому лицу», аккомпанируя себе на гитаре и озорно улыбаясь. Мы были последним его курсом, он хотел сделать нас не только актерами, но еще и благородными, высоконравственными людьми. Может быть, поэтому курс так по-своему несчастлив. Меня он воспитывал наивно-назидательно. Я побаивалась его и вызывающе дерзила. Потом было стыдно, но потом…

Виктор Карлович — руководитель моей группы. Очень интересный, сложный человек. К нам в общежитие он приносил чемоданы бульонных кубиков, брикетных каш, киселей, чтобы мы не голодали. Потихоньку одевал раздетых студентов и влюблялся постоянно в студенток. Когда мы закончили школу-студию, моя соседка по общежитию Наташа Антонова стала его женой.

Александр Сергеевич Поль («Поль, но не Робсон; Александр Сергеевич, но не Пушкин» — так он представлялся) — совершенно титаническая фигура. Он читал, представлял, играл лекции по зарубежной литературе, как теперь помнится, чуть ли не на всех языках, чтобы мы могли почувствовать вкус подлинника. И несмотря на то что был невысок, производил впечатление не человека даже, а явления огромного, мощного, знающего все. На экзаменах был строг, требователен, но однажды поставил мне пятерку только за то, что на вопрос: «Что за имя такое странное — Иза?» — я рассказала, как отец по дороге в ЗАГС забыл вторую половину Изабеллы. Когда же мне пришлось пересдавать ему с четверки на пятерку, чтобы сохранить персональную стипендию, чего он понять никак не мог, мучил меня ужасно и многократно. Я даже ездила к нему домой и была поражена обилием книг; казалось, там вовсе не было мебели или каких бы то ни было вещей. Книги на полках, на полу, на подоконниках, в связках, в стопках, поодиночке. И между ними надо было лавировать, чтобы на них же и сесть и в четвертый раз сдавать Испанию.

Борис Николаевич Симолин — изобразительное искусство. Невозможно не влюбиться! Незаметный, присыпанный пеплом сигарет, он уносил нас в другие миры силой любви и

вдохновения. С ним нас согревало солнце Древней Греции, и ее веселые боги запросто спускались с Олимпа. И рождались герои вольные и прекрасные. Запрокинув головы, смотрели мы на греческих колоссов; входили в гулкие средневековые замки, затаив дыхание, следили, как колдует над красками великий Леонардо, чувствовали ладонями живую прохладу мрамора. Даже экзамен был театрализован. Я читала реферат о Моне Лизе на сцене за кафедрой. Галя Грозина живой Джокондой сидела в прекрасном гриме, замечательно похожая, а Валя Рудович был сам Леонардо да Винчи. Звучала тихая музыка. Было очень необычно и трепетно.

Мария Степановна Воронько — танец. Не просто танец, а танец в драматическом театре. Как неистово щедро тратила она на нас свою неукротимую энергию и доброту. Прелестно смешная, заботливая: «Ребятушки, выручайте, Минай опять закормить меня хочет», — и у нас оказывалась большая бутербродница с изысканной снедью. Однажды они с мужем пригласили весь курс к себе домой. Мы решили, что нас слишком много, и сократились. Муж Марии Степановны был известным адвокатом — кажется, он принимал участие в Нюрнбергском процессе — и необыкновенным кулинаром. Жили они в коммунальной квартире в одной комнате, и вся она была заставлена к нашему приходу едой роскошной, многими из нас не виданной и вкусной до умопомрачения. Уходили мы с огромными кульками для непришедших.

На бревнышках во дворе общежития. Слева направо — я, Наталка, Наташа Антонова, Галя Грозина. 1955 год.

Мария Степановна, оставшись без студии, похоронив мужа, много лет спустя в этой своей комнате добровольно уйдет из жизни.

Елизавета Георгиевна Никулина-Волконская — самая настоящая Волконская, единственная, оставшаяся в России после революции. Предмет — манеры. Очень прямая, коротко

стриженная, нос горбинкой, длинные пальцы, крупный перстень и папиросы «Беломор». Ироничная, остроумная, элегантно простая. Мальчишки млели. Мы восхищались. Как-то она призналась, что продолжает думать на французском. «Вы никогда не ошибетесь, если будете внимательны и доброжелательны к партнеру» — ее завет.

Анвер Яковлевич Зись — диамат, истмат. Он был глубоко убежден, что ни один студент не может постичь сей премудрости — студентки тем более. Ровным шелестящим голосом читал он лекции и спокойно ставил всем подряд «хор.», но однажды он с пристрастием принялся пытать меня на экзамене, потом разочарованно сказал: «Почему я думал, что вы такая дура?!» — и поставил «отл.», чего не делал никогда. Преображался он, когда приглашал нас на посиделки к себе домой. Он был блестящий оратор и собеседник.

Софья Станиславовна Пилявская занималась с нами мастерством на втором курсе. Удивительно благородный человек, красоты строгой, самобытной. Не вспомню, какой отрывок мы с ней готовили, что-то современное, помню только, что на зачете была в ее черной юбке и сиреневой кофточке.

Каждый педагог стремился нам чем-то помочь. Долгое время Карина Филиппова, теперь уже, Филиппова-Диодорова, была близка к Софье Станиславовне. Последние годы Софья Станиславовна отдыхала у них в деревне Мозгово в развилке юной Волги и совсем узенькой, густо поросшей кустарником Держи, в волшебном саду. Кариша рассказывала, как после смерти Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой по ее устному завещанию Софья Станиславовна в присутствии близких, не развязывая узкой ленточки, скрепляющей заветно хранимые Ольгой Леонардовной письма, вручила их загородному костру. Может, стоило сохранить их для истории? Но это была воля Ольги Леонардовны, и потом, историей порой так скверно пользуются, так часто ее перекраивают, и не всегда чистые руки. Заветное должно оставаться заветным.

Как же нам повезло! Нашу юность пестовали чрезвычайно разные люди, но все они были талантливы, благородны, и даже если некоторые имена стерлись из памяти, их душевная красота осталась с нами.

Весной 1957 года праздновали сдачу «Астории». Студенческое застолье с педагогами. Длиннющий «стол» на полу. Вениамин Захарович произносит одну из своих блестящих речей, Виктор Карлович, замечательно красивый, радостный, рассказывает невероятные истории. Вспоминаем репетиции, дурачимся и хмелеем больше от счастья, чем от вина.

Раннее утро ранней весны. Улица Москвина. «Разъезд» — торжественно ждем такси. Грету Ромодину и меня Виктор Карлович пригласил на утренний кофе его тети, знаменитой среди студентов домашними пирожными и ароматным кофе. Мы стоим в сторонке, ожидая последнего такси. И вот тебе, пожалуйста, Вовочка Высоцкий, незаметный весь вечер, рядом, крепко держит мой палец и смотрит с несокрушимой уверенностью стоять насмерть.

Демонстрация. Нам так хорошо вместе. Алеша Одинец, Владик Заманский, Коля Завитаев, Галя Грозина, Ада Петренко, я, Виктор Карлович Монюков, Володя Пронин, Маргоша Володина, Юрочка Ершов, Валя Рудович… (Фамилии других забыла.) Москва. 1955 год.

Все уехали без нас. Я ринулась бульварами на Трифоновку, а чуть позади неотступно шагал тогда еще никому не известный студент второго курса Школы-студии МХАТ Вовочка Высоцкий.

…И случилось чудо. Мальчик с торопливой, чуть вздрагивающей походкой, дерзкий и нежный, смешной и

заботливый, стал родным и любимым.

Глупый мальчик, смешной-смешной, влюбленный во всех девочек сразу. Он не обращал никакого внимания на мою взрослость и замужний статус, появлялся всюду всегда неожиданно, протягивал конфетку, мандаринку, яблоко, ласково смотрел в упор.

Занятия заканчивались поздно. Бежали стайкой на троллейбус и по 1-й Мещанской ехали до остановки «Рижский вокзал», прямо у подъезда Володиного дома.

…Крепко держит за руку и просит: «Подожди», — исчезает в подъезде и через минуту появляется с полным подносом, заботливо покрытым салфеткой. В этот вечер блинчики Нины Максимовны мы поглощали с Наташей Антоновой в нашей крошечной комнате, а Володя счастливо смеялся и уверял нас, что сам он сыт по горло. С каждым разом поднос становился тяжелее.

Спасибо, Нина Максимовна.

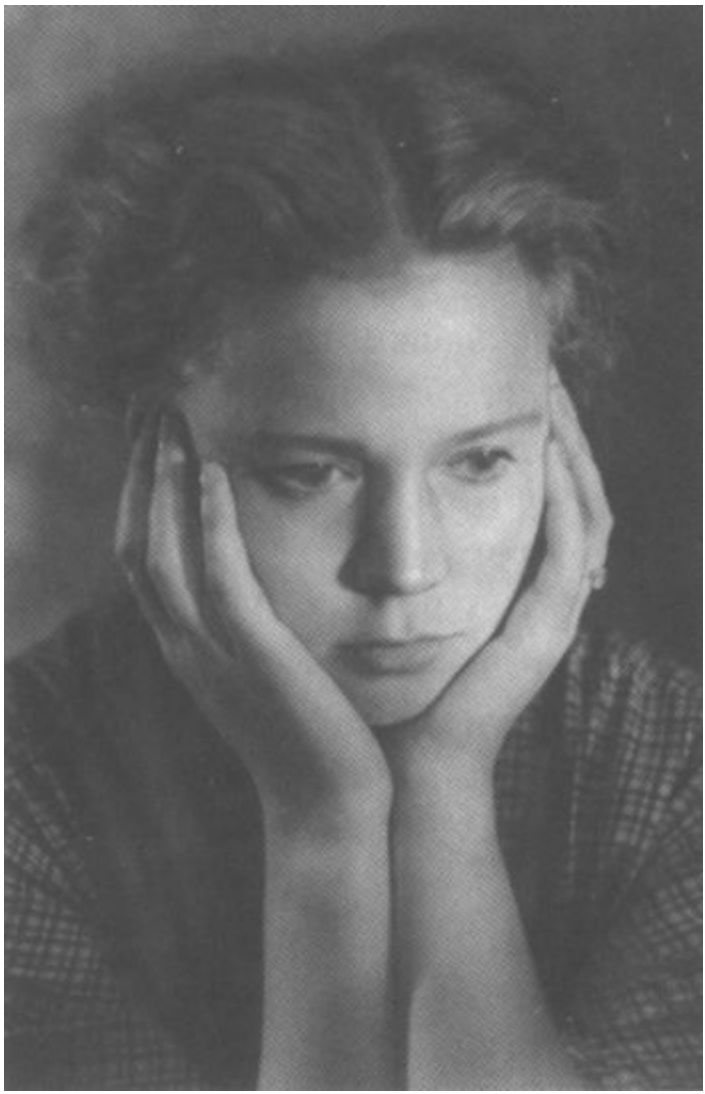
Я была довольно чахлой, часто простужалась. Когда болела, Володя умудрялся, не пропуская занятий (в студии это было невозможным), прилетать по нескольку раз в день между лекциями. На тумбочке росла горка лекарств и всяческих вкусностей. Иногда доставался из кармана крошечный цветок, похищенный у кого-нибудь из цветочного горшка, — Москва тогда была бесцветочной. Смешно рассказывались студийные новости, корчились забавные рожи, убегалось…

Меня приручили. Я стала ждать. Как, когда это произошло — не знаю, но мальчик, совсем ненужный, о чем ему неоднократно и говорилось, вдруг стал необходимым.

Чудесным образом менялся мир. Неприветливая Москва радостно распахнула улицы, а Москва-река, узенькая, серенькая, обрела тысячи оттенков и плескалась, как ласковый привет от Волги. Встречные люди улыбались. Грозная Шестая симфония Чайковского, так часто приходившая ко мне, уступила место нежнейшим вальсам. И однажды я сказала Володе, что он прекрасен.

На Петровке напротив Эрмитажа, нырнув во двор, попадали в царство Володиного школьного друга Акимыча. Родители Володи Акимова умерли, квартиру уплотнили, и теперь он был хозяином одной большущей комнаты, где прежняя жизнь с черной отцовской буркой и саблей на стене, диваном с высокой спинкой лимонного дерева и пружинами, рвущимися наружу, остатками таинственных бокалов, черных статуэток и большим абажуром

принимала жизнь новую, мечтающую и дерзающую, ничего пока не имеющую. И, дразня вечной тайной, смотрел на нас провалами глазниц череп с сигаретой в зубах, превращающий простую комнату в пиратский приют.



Я люблю эту фотографию, потому что ее любил Володя. Москва. 1956 год.

Здесь собирались мальчики, в основном одноклассники —

Аркаша Свидерский, Гарик Кахановский, Володя Малюкин, Яша Безродный. И те, чьи имена потерялись в моей памяти. Девочек не было. Акимыч всерьез увлекался живописью; пахло красками, и рождались желто-синие пейзажи. Кто-то что-то писал, кто-то сочинял музыку, и всё горячо обсуждалось. Плыл сигаретный дым, бутылки водки хватало на всю ночь всей компании, нехитрая закуска из ближайшего овощного (икра «заморская баклажанная», морковь маринованная) — и разговоры до рассвета. Их мужские проблемы не очень занимали меня. Вкрадчиво возникала мелодия сонного адажио, и тогда укладывали меня на диван и укрывали жесткой, пахнущей дымом и шерстью буркой. И переходили на шепот. Блаженно было засыпать в этом теплом мире заботы и надежности.

Толпой ходили в Эрмитаж и засиживались там на длинной терраске, мечтая и дурачась, с крошечным графинчиком коньяка для солидности и куражу. Когда на графинчик не хватало, а хватало только на рюмочку, шли в тир, и рюмочка доставалась победителю. Володя очень гордился такими победами — зоркостью глаза и твердостью руки.

Пробивались на все недоступные фильмы. В кино мы с Володей чаще ходили вдвоем. Он был замечательным добытчиком билетов и пропусков. Бесстрашно заглядывал к администратору, говорил ему что-то такое, что немедленно превращалось в контрамарку. Только однажды он потерпел поражение, когда представился сыном директора цирка и услышал в ответ: «Это что-то новенькое. До сих пор у него была только дочь». И тогда Володя сказал еще что-то такое, отчего администратор долго смеялся и пропустил нас.

Был и ресторан «Савой». Роскошный, с зеркальным потолком, золотой вязью по стенам и фонтаном, где плавали живые чудные рыбы. И тихая музыка. Мы были втроем. Володя, Гарик и я. Гарика уважали особо. У него был настоящий роман с соседкой Акимыча черноволосой глазастой Зиной. Она была намного старше нас, и это делало Гарика очень значительным в наших глазах.

В зеркально золотом царстве множится наша юность. Танцую с Гариком. С Володей не получается. Мы деревенели от публичной близости. Володя не отпускает нас взглядом, и от этого нам так озорно смеется и так упоительно танцуется.

В разгар ресторанного счастья я увидела, как из бассейна тащат в совке трепещущую рыбу. Куда? Зачем? — «На кухню, жарить. Хочешь, закажем и тебе?» Горю моему не было предела. Златокудрой Аленушкой рыдала я у фонтана, а меня уговаривали, как совсем маленькую, чужие мужчины в черно-белом. Я рыдала

до тех пор, пока Володя не договорился с метрдотелем и не купил мне рыбку с условием, что ее никогда никто не съест. Я выбрала самую маленькую, самую худенькую, надеясь, что она еще ребенок и будет жить долго.

Мы уехали на такси, гулять так гулять. Почти у Володиного дома я ужаснулась мысли, что коварные, жуткие злодеи мою рыбку съели. Помчались назад. Я влетела в «Савой», как разгневанный дух. Там было очаровательно спокойно; лениво ели, томно танцевали, пахло духами и вкусным, и моя тощая рыбка была тут как тут. Черно-белый человек подтвердил, что это точно моя рыбка, что она прекрасно себя чувствует, и пригласил меня навещать ее почаще.

Володя! Почему так нежно вспоминается собственная дурь?.. Господи, да просто потому, что тогда в юной жизни рядом с тобой можно было дурачиться, капризничать, творить черт-те что — и чувствовать себя прекрасной, любимой, защищенной.

1-я Мещанская, дом 76, квартира 62, четвертый этаж, из метро «Ботанический сад»[3] направо. Дом еще новый, свежий, подъезд гулкий, лифт лязгает с удовольствием, но по ночам не работает. Напротив входной двери комната Нины Максимовны и Жоры. В ней много розового — любимый цвет Нины Максимовны. Ее розовая кровать, около изголовья не то столик, не то тумбочка, платяной шкаф, то ли диван, то ли топчан, стол, стулья, белые салфетки, легкие занавески — вот и все, что осталось в памяти. Рядом комната Гиси Моисеевны и Миши. Такая же. И также кровать, диван, шкаф, этажерка, может быть… Следующая комната — общая. У нее две двери: одна — к Гисе Моисеевне, другая — в коридор. Правая сторона принадлежала Гисе Моисеевне, левая — Нине Максимовне, вернее Володе. На Гисиной стороне жеманно утомленная кушетка, напротив — Володина кровать; позднее Семен Владимирович привезет нам широкую, деревянную, трофейную кровать, и ее отгородят легкой ширмой.

Мы — на целине. Коля Завитаев, Карина Филиппова, Грета Ромодина и я. 1956 год.

За этой ширмой был наш, никому не доступный мир. Там шептала, смеялась и плакала наша молодость. Володя, всегда стремительный, всегда навстречу, умел замирать и превращаться в слух, зрачки становились огромными, бездонными, забирали боль и умножали радость. Я давилась смехом, когда он рассказывал истории «двора» про «Коню и куночку нябенькую», про «пнащ». В старом дворе и правда жил Коня, не выговаривавший буквы «эр» и «эль». Большой чудак. Вечно он искал «куночку нябенькую» и вечно покупал и не мог купить «пнащ», потому что деньги на него копились, но незаметно «тнатились на голубей». Постепенно эти рассказы превращались в отточенные миниатюры, смешные и забавные — и никогда злые.

И еще он удивительно рассказывал, именно рассказывал

Маяковского. Будто к нам за ширму набивалась толпа персонажей из «Клопа» или «Бани», вольготно располагалась и смешила до слез. Мы зачитывались Ремарком. Тогда приходила тишина погружения. «Три товарища», «Триумфальная арка», «Время жить и время умирать», «На Западном фронте без перемен», «Жизнь взаймы», «Черный обелиск».

Чуть позже пришел Хемингуэй: «Иметь или не иметь», «И восходит солнце», «Старик и море» — как заклинание.

Я не помню занавесок в этой комнате; она жила вместе с улицей, солнцем, луной и трамвайными перезвонами.

Володин письменный стол в углу у окна, на нем оранжевые пачки «Дуката», часто исписанные «дурацкими стихами». Квадратный обеденный стол посредине — совсем забыла, чей он.

Дальше узкая вытянутая кухня с газовой плитой и двумя столами. В кухне же, поставив корыто на табуретки, стирали, потому что ванная была объявлена Гисей Моисеевной святым местом и туда не допускалось грязное белье.

По другую сторону коридора — туалет, ванная, просторная, белая-белая, кафельная с блестящим змеящимся шлангом душа и каскадом горячей воды — для бывших коммунальных жильцов большая редкость. Неясный щиплющий запах источала она мылами и флаконами.

Еще в коридоре-прихожей стояла круглая вешалка, по сезону одетая, то в зонтиках и панамах, то в теплых пальто. Рядом низкий столик с зеркалом и телефоном.

Несколько Володиных однокурсников и я почему-то среди бела дня сидели у него дома, сидели как-то праздно, просто так. Вдруг вошел среднего роста, очень ладный, темноволосый с ярко-синими глазами мужчина. Он обошел вокруг стола, обвел нас пристально-лукавым взглядом, загадочно сказал: «Ну-ну…» — и тут же исчез. Это был отец Володи Семен Владимирович, и это, оказалось, были смотрины.

Моя любимая Володина фотография. 1957 год.

В этот дом ввел меня Володя, держа в одной руке мою руку, в другой — мой чемодан. Все случилось необыкновенно просто, как будто так и должно быть. Со временем я прибила в ванной две небольшие стеклянные полочки, купила две крошечные тюлевые салфетки и почувствовала себя совсем равноправным жильцом.

Гися Моисеевна забеспокоилась было, что мы захватим и

правую сторону общей комнаты, и первые дни они завтракали, звеня ложечками и громко перешептываясь, прямо у наших спящих голов, но вскоре она успокоилась и кормила Мишу по утрам в своей комнате.

Миша Яковлев — красивый, чуточку барственный пожилой человек тридцати лет, остроумный, один из зачинателей КВН — ее сын, гордость и смысл жизни. По профессии он был инженер, но, как и вся техническая интеллигенция тех дней, был и «физиком» и «лириком», натурой творческой и компанейской. К нему приходило много друзей, и всех радостно встречала маленькая, хрупкая, с тонкими чертами лица, серыми живыми глазами и ореолом пружинистых платиновых волос Гися Моисеевна, кормила, поила чаем, счастливая уже тем, что Миша дома и у него такие хорошие друзья.

Еще был Жора. Он никого не любил. Его любила Нина Максимовна. Высокий, смуглый, с небольшой узкой головой и глубоко посаженными глазами. При нем все теряли домашнюю непринужденность.

Нина Максимовна начинала порхать и щебетать Риной Зеленой, Гися Моисеевна нарочито громко разговаривала и сверкала глазами, Миша изо всех сил не обращал внимания, а мы с Володей торопились сбежать. Жил Жора на голубой левой половине комнаты Нины Максимовны, и при нем мы никогда туда не входили.

Тогда мне казалось, что после тридцати можно любить детей, природу и собак, потом внуков и горячий чай с вареньем… Как можно любить Жору в сорок пять, было совершенно непонятно.

Нина Максимовна работала в техническом архиве, но душой витала в полях и лугах романтической влюбленности. Надев шляпу с полями, белые перчатки и белые носочки, розовую кофточку в талию, она по выходным отправлялась в парк или куда-нибудь за город, часто с романом, который на пенечке в тени деревьев приобретал пряный вкус старины и сладкой муки.

Дома мы бывали мало. Чаще всего, когда уже не работал лифт и все окна спали. Неслышно поднимались мы по лестнице, не дыша открывали дверь и, прошмыгнув на свою половину, всегда находили знакомый поднос с ужином.

Нина Максимовна, Жора и Миша уходили на работу раньше. Когда в последний раз хлопала дверь, я осторожно выныривала из Володиных рук и ныряла в белую-белую ванну, обрушивала на себя упругий, звенящий душ, расчесывала рыжую гриву — и утренняя красота была готова. Если наклониться над спящим Володей, невольно щекотнув волосами, и тихонечко позвать: «Волк! Проснись!» — он тут же распахнет серые, будто и

неспавшие глаза и утащит в родное тепло, неповторимо пахнущее ночью и волшебными снами. Как заклинание: «Опоздаем!» Мгновенно вскакивает, плещется под душем, а я готовлю нехитрый завтрак.

На уроке танца. Боря Тетерин и я. Попытка испанского. 1957 год.

Совершенно неприхотливый Володя все принимает с детской благодарностью; ест быстро, с удовольствием, по-мужски. У меня

часто пригорает картошка. Он почему-то радуется и говорит, что так еще вкуснее. В нем много детского, чистою. Свежую рубашку он надевает, как драгоценное платье, и восхищается: «Как можно было ее так отутюжить!» У него был дар радостно жить. Когда он смотрит на меня, я чувствую себя такой прекрасной, что становится страшно самой.

Когда я чувствую твой взгляд сейчас, сегодня, мне кажется, что я хорошею.

Вихрем за руки слетаем с лестницы (лифт для пожилых и старых), в переполненный троллейбус — и студия.

Мы расходимся по разным курсам, разным аудиториям, вливаемся в свои коллективы и потаенно маемся разлукой.

У меня четвертый выпускной курс. Мы работаем над дипломными спектаклями и догрызаем гранит наук.

Водевиль «Пощечина» — я в главной роли, в бело-голубом атласном платье с букетиком фиалок у пояса и двадцатью четырьмя локонами рыжей спиралью на голове. С нами работает Алексей Николаевич Грибов. Он приходит медленный, недовольный, долго расчесывает лысину у зеркала рядом с раздевалкой, входит в аудиторию и садится, подперев кулаком щеку, так что один глаз закрывается, а другой тоскливо смотрит на нас. Беззлобно и безутешно обругав нас бездарями, он постепенно оживляется, глаз начинает светиться каким-то загадочным ликованием, и он сам выходит на площадку. Откуда появляются силы?! Он запросто и меня, и Грету, и обеих вместе хватает в охапку, раскручивает, держа нас, как снопы, под мышки, хохочет и рыдает и под конец репетиции объявляет нас гениальными.

Островский — «В чужом пиру похмелье». Я — скромная, ситцевая, добрая дочь бедного учителя. Ставит Владимир Николаевич Богомолов. С ним замечательно. Он обладал тайной доверия, перед ним душа сама раскрывалась, и работалось необыкновенно легко. Владимир Николаевич так истово и радостно любил театр. Как хорошо, что еще до студии Володя пришел к нему в драмкружок, а мне посчастливилось с ним поработать. Очень хорошо помню всех занятых в этой работе, особенно Сахар Сахаровича — Юрочку Ершова.

«Мнимый больной» — Мольер. Белина — сплошное коварство и роскошные костюмы — парча и бархат из мхатовских закромов. Мою светлую рыжесть прячут под темную бронзу парика, нос украшают небольшой горбинкой, глаза зеленой подводкой — хищник, да и только. Постановщик тоже Владимир Николаевич.

Алехандро Касона — «Третье слово». Анхелина — наивная, чудаковатая тетушка, нежно любящая племянника; в моменты нервных потрясений поет фальшиво венский вальс и нечаянно бьет посуду. Ставит Виктор Карлович Монюков. Я до того глупа, что не сразу понимаю, что за прелесть эта тетушка и как здорово попробовать не только разные характеры, но и возраст.

И два эпизода в «Ревизоре» — унтерша, которая «сама себя высекла», с длинным носом, наклеенными бровями и наполовину заклеенными глазами, в реденьком паричке и старой кокетливой шляпке, и дама в последнем акте с двумя фразами тяжелым басом. Над «Ревизором» работали Георгий Авдеевич Герасимов и Комиссаров.

Во всем великолепном разнообразии моих героинь появлялась я перед Володей, часто сбегающим с лекций, чтобы хоть на минуту заглянуть к нам. Ужасно забавно было видеть его глаза, полные муки, когда он встречал меня унтершей; лицо его вытягивалось, бледнело, и если он не говорил: «Чур, меня!» — то только от онемения. И какая восхищенная улыбка сияла, когда я проскальзывала в черно-зеленой роскоши Белины, шелестя длинным шлейфом и блистая декольте.

Мы с Володей в Сокольниках на Американской выставке. 1957 год.

А у Володи второй курс. У них отрывки из пьес. Это совсем не то, что этюды на первом. В этюдах действующее лицо — сам студент. Он сочиняет различные обстоятельства, жизненные ситуации, но остается самим собой. На втором же курсе совершается переход от своего «я» к художественному образу. Как правило, мастера брали отрывки из классиков, работали со

студентами не только педагоги, но и замечательные, великие актеры МХАТа. Я не помню, что делал Володя. Мне преступно было не до того. Важно, что он рядом, важно, что с ним солнечно, и появляется такое ощущение, будто исчезает земное притяжение — стоит подпрыгнуть, и взлетишь.

В обеденный перерыв мы часто бежали на Большой Каретный. В двух крошечных тесных комнатках дома 15 жили Евгения Степановна с Семеном Владимировичем. Пианино, горка черного важного дерева, полная чудесных чашечек — хрупких, изысканных, нежных, сияющих позолотой, — хрустальных вазочек и рюмочек, и дразнящий запах дорогих духов с примесью чарующей прелести армянской кухни.

Яркая, большеглазая, сияющая Евгения Степановна спешила накормить нас, на уход давала денежку, и мы убегали в свою студенческую жизнь. Если дома был Семен Владимирович, он усаживался напротив и подробнейше, с пристрастием расспрашивал о студии, друзьях, доме…

Евгения Степановна была второй женой Семена Владимировича и второй мамой для Володи. После войны Семен Владимирович служил в Германии, и Нина Максимовна отпустила маленького Володю с отцом и Евгенией Степановной. Я не могла понять тогда да и теперь не понимаю, как можно отдать ребенка незнакомой женщине на несколько лет, даже с родным отцом!

Володя любил мать бережной, охранной любовью, но и к Евгении Степановне прикипел сердцем. Она стала для Володи сокровенным человеком, надежным любящим другом, которому он мог довериться в трудную минуту и всегда находил поддержку.

Володя ласково звал ее «тетей Женечкой», торопливо проглатывая «тетя». Мне кажется, что ко всем близким женщинам он относился по-мужски, с вечной потребностью защитить. Племянница Евгении Степановны Лида, с которой Володя жил на Большом Каретном после возвращения из Германии (отец тогда служил в Киеве), превратилась в Лидика, мама Евгении Степановны, легкая, как высохшая веточка, с огромными ласкающими глазами, стала «бабилечкой». Нину Максимовну всегда называл «мамулечкой», а меня — Изулей, впрочем, так меня называл весь курс.

К мужчинам: отцу, его брату Алексею Владимировичу, их фронтовым друзьям — он относился как к героям — торжественно-восхищенно. Они величались строго по-мужски. Вот только муж Лидика и близкий друг Семена Владимировича Левушка, при всем почтении, оставался Левушкой, то ли из-за

приветливой мягкости характера, то ли из-за лучистых теплых глаз, внимательных и доброжелательных.

Совершенно отдельно, почти недосягаемо, с уважением невероятным относились к деду, отцу Семена Владимировича, Володиному тезке Владимиру Семеновичу. У него было четыре высших образования и четыре жены. Последняя, с царственным именем Тамара, моложе его на сорок лет, что вызывало тревожный восторг и удивление. Однажды я увидела ее мельком, когда она приходила к Нине Максимовне на 1-ю Мещанскую. В прихожей задержались нездешние духи, мерцание меха и звонкая зрелая молодость. А дед сначала был на фотографии: длинный плащ, шляпа, узкое лицо, фигура вытянутая, взгляд внушительный; и еще — дед и два очаровательных пышноголовых мальчика.

Сцена из спектакля «Мнимый больной». Юрочка Ершов, Дима Либуркин и я в роскошном платье. 1958 год.

Когда Алеша и Семен были подростками, Ирина Александровна, бывшая уже в разводе с дедом, отправила их под отцовский надзор.

Потом был торжественный семейный поход к деду на день рождения. Семен Владимирович, Евгения Степановна, Володя и я. У подъезда встретились с младшим Владимиром, сыном деда и Тамары, лет четырнадцати, бойким и совсем не торжественным.

В квартире мчались бронзовые кони, бронзовый Иван Грозный хмуро сидел на бронзовом троне, и сам дед казался века ушедшего. Говорили, что, когда они встретились с Тамарой, Владимир Семенович был еще очень импозантен и привлекателен. Теперь это был старый, усталый, снедаемый ревностью человек.

Он оживился при моем имени и загадочно сказал: «Вторая Иза и вторая рыжая». Он посадил меня рядом и, зорко следя, чтобы я доела ненавистный студень, рассказал, что одной из его любимых женщин была известная в свое время Иза Кремер. Это было на юге, это было в молодости и уже потому прекрасно.

Летом тем же составом ездили к Владимиру Семеновичу на дачу. Он был болен, лежал, длинно вытянувшись, на постели и напоминал картинку из школьного учебника «Больной Некрасов». Дед читал нам свою рукопись. Все усердно слушали, а я смотрела в маленький квадрат окна. Там стремительным полетом чертили лазурь неба ласточки, и ужасно хотелось танцевать.

Много лет спустя, на гастролях в Саранске, бродила я по неожиданно прекрасному музею скульптора Эрьзи.[4] Переходя от одной скульптуры к другой, я вдруг остановилась, как бы встретилась, перед женской головкой черного чарующего дерева. Портрет назывался «Голова еврейки».

Тем же летом в библиотеке Дома актера в Мисхоре первой же, наобум взятой книгой оказалась биография скульптора Эрьзи. Из этой небольшой серо-бежевой книжицы узнала я, что «Голова еврейки» — скульптурный портрет певицы Изы Кремер, созданный в Италии, во время скитаний скульптора и модели после отъезда из развороченной России, где они бедствовали и тосковали по родине, были дружны и помогали друг другу, чем могли.

Это было прекрасное время дружества, когда Володя вводил

меня в свой сокровенный мир. Его родные становились для меня родными, его друзья — моими друзьями.

Ездили мы и в Горький. После третьего курса я ошарашила маму с бабушкой сумасшедшей телеграммой: «Экзамены сдала еду новым мужем». Мама с Наталкой к поезду чуть опоздали. Мы с Володей были уже на вокзальной площади. Я стояла в хвосте длинной очереди на такси; там они меня и нашли, а Володя пытался перехватить какую-нибудь машину. Его пестрый пиджак прыгал среди серо-коричневой суеты, привлекая внимание, и Наталка, увидев его, смеясь, спросила: «Иза, это не твой клоун?» Ей было одиннадцать лет. Машину Володя поймал, и, лихо перемахнув через Окский мост, подкатили мы к нашему дому. Изумили сидящих на приступках, вошли в подъезд, где отсиживались во время бомбежек, поднялись по бетонной лестнице, и в уголочке темного коридора под деревянной лестницей на чердак открыла нам дверь моя красивая гордая бабушка-чудачка.

Володя сидел на табуретке. Мы напротив. Молчали. Ладонями Володя разглаживал брюки на коленях, и вдруг брюки на этих коленях треснули. Всем сразу нашлось дело, искали нитки с иголкой, давали советы, как лучше, как незаметнее заштопать. Бабушка захлопотала с чаем, мама штопала, Наталка принимала подарки — всем стало легко и весело. Володя сидел в трусах в ожидании брюк.

Пили чай. Бабушка придвинула Володе вазочку с земляничным вареньем — душистым, чуть горьковатым, ягодка к ягодке, и вазочка очень быстро оказалась пустой.

Прозрачная, бледно-розовая, она жива и сейчас и с тех пор зовется Володиной, так же как и земляничное варенье.

Потом мы повели Наталку в лучшее кафе-мороженое на Верхневолжской набережной, где липы, простор и чудо как хорошо. Наталке заказали огромную порцию разноцветных холодных шариков. Она любила мороженое без памяти, но тут с каменным лицом лизнула пару раз и сказала: «Спасибо». На уговоры не поддалась и вышла из кафе неприступная до ужаса. Потом призналась мне, чего ей стоило выстоять перед таким искушением, — но очень хотелось показать, какая она взрослая и неподкупная.

Разместиться в нашей комнате было невозможно, и Володя устроился на дебаркадере и хвастал по утрам, что засыпается там сказочно — русалки убаюкивают, поют колыбельные.

Ездили втроем с Наталкой на пляж, что посреди Оки высунулся желтой полосой в то лето (теперь это остров, заросший лесом). Плескались, плавали до изнеможения. Конечно, лазили

по кремлю, по ежевичным берегам Волги. Складно чаевничали по вечерам, Володя подолгу душевно беседовал с бабушкой.

Ура! Мы сдали водевиль! С нами сам Алексей Николаевич Грибов. 1958 год.

Он любил старых людей, умел разговорить их, а еще больше умел слушать. Моя сдержанная бабушка охотно рассказывала ему жизнь свою и любила и понимала его до конца жизни. И долго еще каждый год варила земляничное варенье «для Володи, на всякий случай». Маме тоже он пришелся по душе. И неприступная Наталка растаяла, с удовольствием поедала мороженое, а главное — ей очень нравилось повсюду ходить с нами. Осенью она приезжала к нам в Москву, вернее на экскурсию со школой, и, конечно, была у нас. Катались с подружкой на лифте, как на карусели, и пищали и визжали в ванной, поливая друг друга из ручного душа — такие чудеса были у них впервые. Наталка была с нами и на памятном вечере у Греты Ромодиной, когда мы в первый и последний раз соединили за праздничным столом два курса: наш, по их мнению, чопорный и их, по мнению нашему, — разгильдяйский. Немного покуражились и, наткнувшись на искрометный юмор хозяйки, успокоились; и вечер был веселый, шумный, озорной. Много танцевали. Наталка смирно сидела за

сладким столиком, сначала робко, потом смело грызла миндаль в сахаре и зорко следила за нами. Время от времени, когда я затанцовывалась с кем-нибудь из ребят, она подкрадывалась сзади, дергала меня за руку и предостерегала шепотом: «Из, а Из, а Вовка-то смотрит!» Мы не умели с Володей танцевать, за стол садились порознь, но неотступное внимание его чувствовалось постоянно. Стоило на секунду остаться одной или заскучать — и он тут как тут. Иногда, поймав взгляд друг друга, мы убегали в разгар пира, схватившись за руки.

Стремительно наступала весна четвертого курса. Мы радостно замирали от страха, и все чаще раздавался вздох: «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас».

Из Киева приезжал народный артист СССР Михаил Федорович Романов — знаменитый Федор Протасов в «Живом трупе» Л. Толстого. Он посмотрел несколько отрывков из наших работ и сделал заявку на Лешу Одинца и меня. Мы уже знали, что во МХАТ возьмут Грету Ромодину, Наташу Антонову и Володю Пронина. Остальные бросились показываться в другие театры, я была только на одном показе в ЦТСА. Тягостное чувство неловкости — вот и все, что ощутила я в тот раз, и готова была уехать хоть к черту на кулички. Разлука казалась нереальной и почему-то очень далекой. Надо сдать экзамены, а там — будь что будет!

Я получила диплом с отличием и ждала приезда театра Леси Украинки. Он гастролировал в то лето в Москве в Малом театре. Володя, кажется, был на целине, а я успела немножко подработать на съемках «Тихой пристани» в эпизоде с двумя словами. Стайка девочек, выпускниц театральных вузов и циркового училища, изображала медсестер в доме отдыха для ветеранов. Импозантный Василий Меркурьев смущал нас галантностью и приглашениями в ресторан. Это был второй и последний мой киноопыт.

Иногда, очень редко, когда уже вовсю появилось телевидение и стали показывать Каннские кинофестивали, в тоскливые одинокие ночи я придумывала наряды несусветной красоты и принимала всемирное восхищение. Этого было вполне достаточно.

Наконец приехал Михаил Федорович Романов, и оказалось, что Министерство культуры РСФСР не отпускает меня на Украину; пришлось ему хлопотать, а мне по его протекции идти на прием к заместителю министра культуры, кажется, СССР, Кабанову. Запомнились массивные двери и очень массивный Кабанов. Он спросил: «Где же вы будете там жить?» — «Мне обещают комнату в театре». — «Но у вас же муж и ребенок!» Я

потеряла дар речи, потом клялась, что мужа у меня нет, вернее есть, но я с ним разведусь обязательно, потому что люблю другого, студента, ему еще два года учиться, а ребенка у меня нет, никогда и не было. «По моим сведениям, есть». Я окончательно вошла в транс от изумления. Кабанов сжалился и подписал какую-то бумагу.

Любимый эпизод из спектакля «Ревизор» Николая Гоголя. Боря Тетерин, Карина Филиппова и я — унтер-офицерша. 1958 год.

Во время московских гастролей Михаил Федорович работал еще и на московском телевидении на Шаболовке. Он поставил пьесу Дж. Б. Пристли «Семья Линден» и сыграл в ней центральную роль профессора Роберта Линдена, а мне посчастливилось сыграть его младшую дочь. Это было 15 августа 1958 года.

В ноябрьском номере журнала «Театр» была об этом статья Вл. Саппака: «…вот где перед нами настоящий телевизионный театр! Так телевидение из средства пропаганды искусства может стать искусством. К сожалению, я не сумел в рамках этой короткой заметки рассказать о каждом из актеров, товарищей М. Романова по передаче, которые вместе с ним делят его успех. Это прежде всего относится к Е. Опаловой (старой экономке) и В. Драга (миссис Линден) — двум прекрасным актрисам, сыгравшим свои роли и остро, и тонко, и драматично». Это относится ко всем участникам спектакля — значит, и ко мне. Еще там был прелестный кадр — Михаил Федорович и я. Он сидит чуть откинувшись в кресле, а я рядом, положив голову ему на плечо.

Пригласив меня на работу, Михаил Федорович относился ко мне с постоянной заботой. Я верила ему безгранично, в профессии больше так никогда и никому.

Собирали меня в Киев. Володя занимался моим гардеробом. Покупаются два шерстяных отреза — черный и серо-зеленый, полынный. Володя везет меня к знаменитой портнихе, которая не признает модных журналов, а сама рисует эскизы будущего наряда и, если вы с ней не согласны, просто-напросто отказывается вам шить. Она завернула меня в ткань, обколола булавками и назвала дату готовности. Володя был в восторге — процесс обкалывания ему понравился. Он пытался принять в нем участие. Его не сразила даже сумма, от которой у меня подкосились ноги.

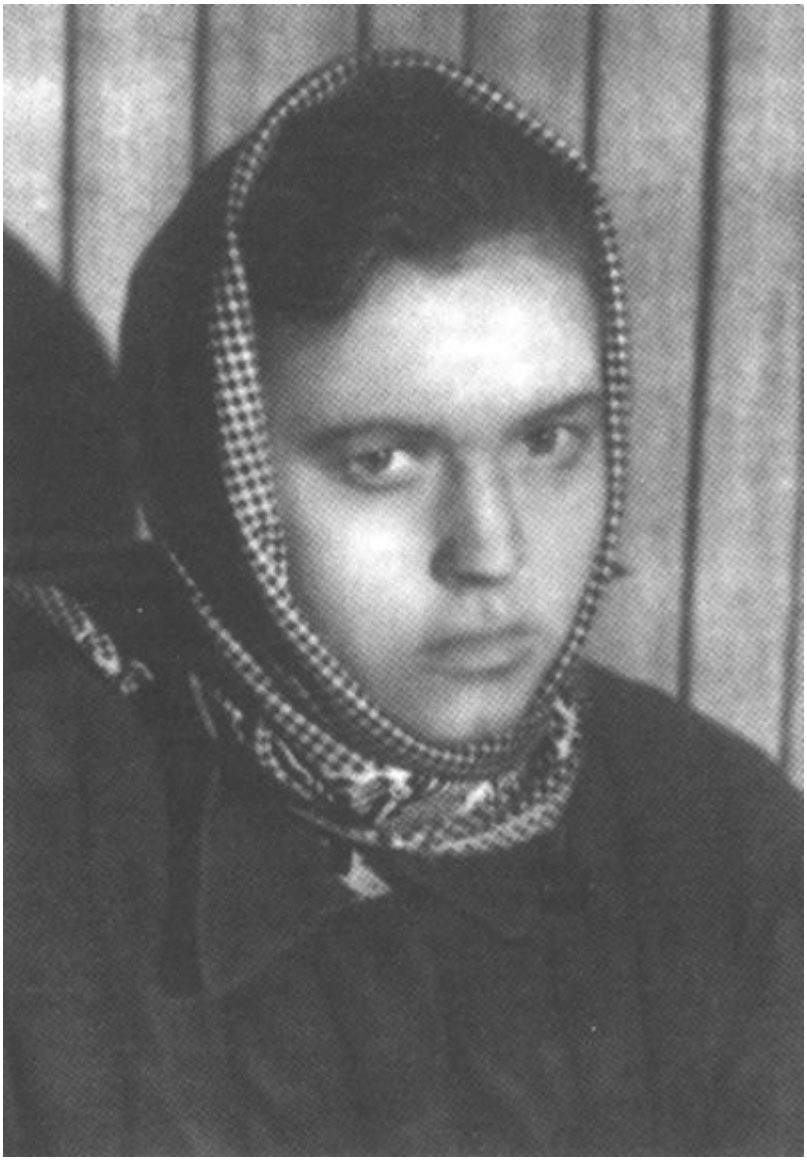
Евгения Степановна подарила мне старинную подвеску и дала денег, чтобы сделать из нее перстень. Овальный солнечный топаз, обрамленный незабудками белого, желтого, красного золота (единственная драгоценность за всю жизнь).

В моем чемодане два новых платья. Они образец гениальной простоты и неподражаемой скромности. Я запасаюсь губной помадой и лаком для ногтей — это не так-то просто, если хочешь, чтобы лак и помада были одного оттенка. Студийный запрет на косметику снят — можно красить все: брови, ресницы, губы, щеки и даже волосы. О волосах, правда, не может быть и речи — этого не допустит Высоцкий. Он всегда просит: «Изуль, распусти волосики!» «Распусти волосики и возьми кофточку» — его постоянный призыв, когда мы уходим из дома. Кофточку Володя купил у кого-то из американской посылки. Она легкая, тоненькая, серенького пуха с мелкими пуговками и тремя квадратиками на левой груди, прозвище у нее «Такси». Ни у кого нет такой кофточки. Володя любит, чтобы она была или на мне или при мне даже в жару — «а вдруг будет дождик, или злой ветер, или мало

ли что?!»

Мы притихли, ужасно деловые, меньше смеемся и больше молчим. Но чемодан уложен. Нина Максимовна напекла пирожков в дорогу…

Киевский вокзал был затоплен моими слезами. Я стояла вжавшись в стену, а Володя, упершись ладонями, отгораживал меня от всего мира. И я ужас как ревела. И мы ужас как целовались. Что-то шептал Володя на ухо и пытался рассмешить, и утирал слезы и мой распухший нос. Поезд вздрогнул, и я высунулась в щель окна и сквозь слипающиеся мокрые ресницы видела, как стремительно удаляется родной козырек и, окончательно обессилев, вжалась в угол полки, уносясь в далекое, страшное — разлуку.



Полина. Дипломный спектакль «Гостиница „Астория“», в котором был занят Володя, Вовочка Высоцкий. Школа-студия МХАТ. 1958 год.

Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки. По правую сторону лестничной площадки второго этажа шел коридор с рядом одинаковых дверей: мужские гримуборные, кабинет заведующего труппой, самая последняя

дверь — моя. В узкой комнате стояли большая деревянная вешалка, похожая на виселицу, диван, маленький столик, тумбочка и два стула. Еще была раковина. В окно стучался каштан, и когда окно открывалось, роскошная ветка влезала в комнату. Потом я спрятала вешалку за светлой ситцевой занавеской, пристроила на окно такие же шторы, и стало намного уютнее.

По местной трансляции можно было слушать репетиции и спектакли, ни с чем не сравнимый предвкушающий шум зрительного зала и голос помощника режиссера, приглашающий актеров на выход. Первую неделю я болела. Лихорадка обметала губы, от носа до подбородка, и я боялась выходить. Тихо-тихо, затаившись, сидела я на широком низком подоконнике, слушала шаги и голоса за дверью и скоро научилась узнавать, какой голос каким шагам принадлежит. В середине дня, когда в театре, как мне казалось, оставался один самый строгий вахтер на свете, я проскальзывала на улицу, чтобы купить чего-нибудь поесть и добежать до главпочты — опустить свое письмо и получить Володино, скорее принести его в еще не мою комнату, снова мимо вахтера, всякий раз требовавшего пропуск, хотя прекрасно знавшего, что я живу в театре, приютиться в зеленой каштановой тени подоконника и читать и перечитывать мелкий почерк Володиных строчек — то смешных, то грустных, искать тайный смысл в самых простых словах и в том, как сбегают строчки. Письма складывались в стопочку и перед сном проверялись — все ли на месте.

Потом было собрание труппы, где нас с Алешей Одинцом представили торжественно по имени-отчеству. Алеша показывал мне Киев, закармливая пампушками у каждого ларька. Его мама — жили они недалеко от театра — потчевала борщом и варениками. Я осмелела, стала выходить из своей кельи и уже точно знала, что самым легким шагам принадлежал голос Олега Борисова. Познакомилась и с моим соседом, заведующим труппой В. Дудецким, душевным человеком, до того чудесным, что даже стук его пишущей машинки за стеной как бы говорил: «Я здесь, рядом, хочешь помогу?» И помог. Он оставлял мне ключ от кабинета, а там был телефон, и Володя мог звонить мне по ночам. Теперь днем я получала от него письма, а ночами ждала, когда задребезжит за стеной телефон, опрометью, боясь не успеть и разбудить вахтера на первом этаже, кидалась в коридор, умоляла ключ поторопиться, хватала трубку и слышала: «Здравствуй, это я!» Сначала разговоры были короткие, трехминутные. Потом мы заметили, что телефонистки не прерывают нас, и часами болтали и хихикали, и только когда разговор заходил о каком-нибудь

деле, вклинивался посторонний женский голос и требовал про любовь. Я босая, в ночной рубашке, в пустом театре в Киеве — и Володя, накрывшись одеялом, чтобы никого не разбудить, на 1-й Мещанской в Москве.

В Киеве жила Володина бабушка по отцу Ирина Алексеевна (по паспорту Дарья, я не знала об этом, да и к чему). По выходным дням я ходила к ней не всегда охотно, но всегда обязательно. Небольшого роста, тяжело из-за больных ног ходившая, коренастая, всегда прямая, она казалась массивной и властной.

Мы — дома. 1958 год. Эту фотографию мне дала Нина Максимовна в августе 1980 года.

Ее второй муж, высокий, крупноголовый, молчаливый, был как бы ее тенью, сопровождающим, удивительно незаметным при ней. Еще была невзрачная, ворчливая, снующая домработница. Дом томил скучностью, ощущением старости и постоянным полумраком, живущим там. И тем не менее что-то влекло в этот дом. Возможно, честность и открытость отношений. И это была Володина бабушка, по-своему заботившаяся обо мне.

Она была косметологом. Ее преданные клиентки, скорее пациентки, посещали ее по пятнадцать — двадцать лет. Они

выделялись фарфоровой белорозовостью лиц, пугающей контрастом с тяжеловесной рыхлостью тела. Своим невесткам Евгении Степановне и Шуре Ирина Алексеевна постоянно посылала кремы своего приготовления. Я тоже стала получать каждый месяц две баночки: розовый — дневной и белый — ночной нежности и ритуально умащалась, веря в похорошение и вечную молодость. Однажды, спасая меня от насморка, театральная медсестра передержала кварц. Наутро после спектакля лицо мое чудовищно раздулось. Ирина Алексеевна тотчас пришла на помощь и быстро привела меня в порядок.

Она любила меха и драгоценности. Однажды я пришла, когда меха пересыпали свежим нафталином. Ирина Алексеевна тут же принялась примерять на меня манто, палантины, жакеты — всю пушистую гору — и всякий раз, любуясь вещью, с удовольствием говорила: «Нет-нет, тебе не идет». Долго потом меня преследовал нафталинный дух.

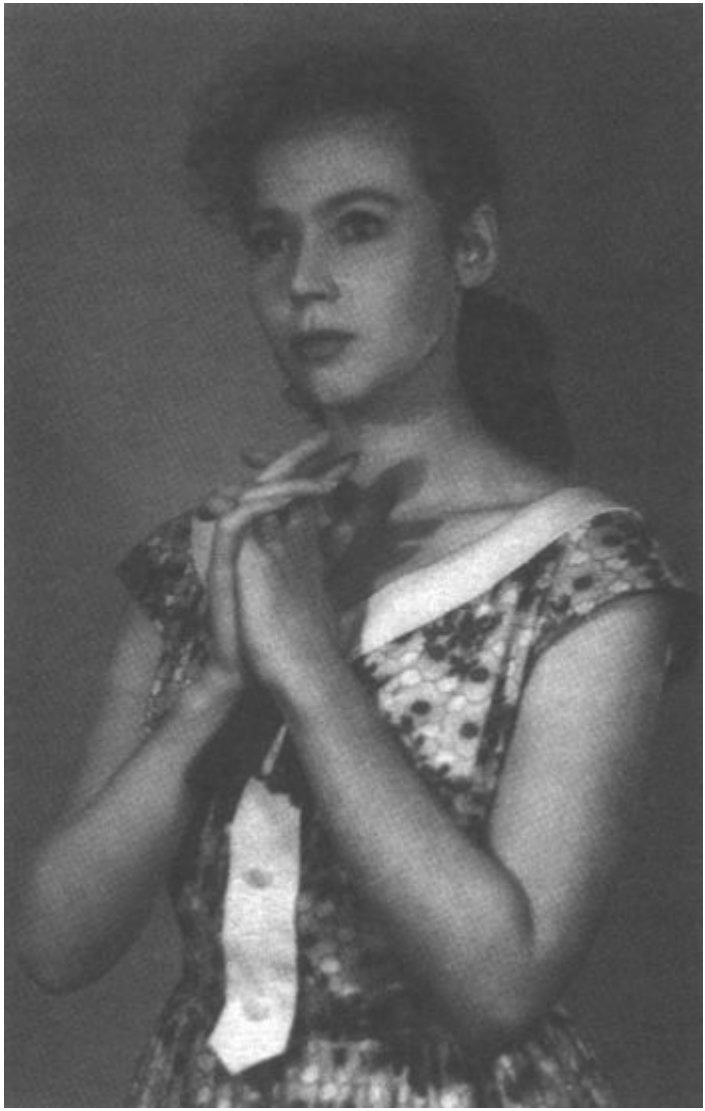
Перед моим днем рождения, уведя меня в спаленку, чтобы тет-а-тет, очень серьезно спросила: «Если бы одной молодой даме решили подарить нитку жемчуга или шелковые чулки, что бы она предпочла, как думаешь?» — «Я думаю, жемчуг», — обмирая, прошептала я и получила длиннющую нитку древней облупившейся бижутерии. Уж лучше бы чулки. (Через несколько лет, работая во Владимире, я расшила свой костюм Дианы из «Собаки на сене» этим жемчугом.)

Ирина Алексеевна с мужем были на всех премьерных спектаклях. Места были постоянные — 1-й ряд, 14–15-е кресла. Рядовые спектакли не посещались. Я никогда не смотрю в зал в щелочку, подглядывая за зрителем. Зал для меня всегда тайна, и она не может дробиться на конкретные лица, но на премьерах я знала точно — бабушка на месте, волосы светятся белокуростью, тщательно завиты и уложены и заколоты чем-то старинным и ярким, палантин обнимает плечи, пальцы блистают перстнями, осанка гордая, светлые глаза смотрят точно и требовательно. Когда в газетах появились хвалебные рецензии обо мне, Ирина Алексеевна сияла гордостью и настоятельно рекомендовала своим клиентам, знакомым и друзьям немедленно идти «смотреть эту чудо-девочку», а мне беречь себя, не сидеть на сухомятке и больше есть витаминов.

Когда я заболела и не смогла прийти на воскресный обед, они пришли ко мне сами с бульоном, котлетами, тертой морковкой и другими витаминами, и наш цербер-вахтер пропустил их без пропуска.

Когда приезжали Семен Владимирович с Евгенией Степановной, Леша с Шурочкой или Володя, или все разом,

Ирина Алексеевна оживала, глаза молодо блестели, молодел голос и исчезала монументальность. Она страстно любила своих мальчиков, звала их смешными детскими именами. Семена Владимировича звала Котей, подкладывала лучшие кусочки и считала, что у ее «мальчиков» именно такие жены, какие им нужны. В доме светлело. Мне Ирина Алексеевна говорила: «С Володей нужно быть всегда за руку, куда он — туда и ты».



Уже актриса. Мое боевое крещение. Соня в спектакле М. Соболя «Вот я иду». Киевский театр им. Леси Украинки.

Киев. 1958 год.

Ирина Алексеевна с мужем, имени которого я даже не помню по легкомыслию и эгоизму молодости, пережили оккупацию Киева. Говорили об этом редко и скупо; как шли по улицам в полном молчании старики, дети, женщины, мужчины… шли в Бабий Яр и знали зачем… И страшно было смотреть в окно и не смотреть страшно…

Когда Семен Владимирович приезжал один, он любил меня брать с собой на встречи с друзьями. Были мы в гостях и у Володи Давыдова, жившего в небольшой комнате коммуналки с веселой молодой девчонкой, пожалуй, моей ровесницей, не в законном браке и потому подвергавшегося соседскому дружному осуждению и доносам участковому. Остроумный, гостеприимный, озорной, он тоже прошел молчаливый путь к Бабьему Яру и был расстрелян. Чудом спаслись несколько человек, выбравшись из-под трупов, в том числе и он.

С Семеном Владимировичем они составили прекрасную пару. Мы хохотали в тот вечер до упаду, пытались сдерживаться, чтобы не гневить соседей, и от этого смеялись еще пуще.

Перед нашей свадьбой Ирина Алексеевна подарила нам три тысячи рублей — на самое необходимое. Мы устроили семейный совет. Володя настоял, что самое необходимое — купить мне шубу. С утра я поехала в ГУМ, но до второго этажа, где продавались шубы, не дошла. Домой вернулась к вечеру на такси шальная от счастья — и чего только я не накупила!!! Мы сидели на полу, разложив многочисленные коробочки, пахнущие дурманом духи, рисовую пудру, что-то газовое, шелковое, смеялись и были счастливы.

Володя, как с тобой замечательно было смеяться! Как легко!

Первая роль. «Вот я иду» — Георгий Сергеевич Березко, пьеса в трех действиях, восьми картинах. Режиссер — заслуженный деятель искусств УССР Владимир Александрович Нелли, художники — заслуженный деятель искусств УССР Н. Духовский, Д. Боровский. Исполнители ролей — дух замирает: народный артист УССР Юрий Сергеевич Лавров, народный артист УССР Михаил Михайлович Белоусов, дальше заслуженные и просто Олег Борисов, Павел Луспекаев и другие.

Всю жизнь с благодарностью душевной помню дивных своих партнеров, особенно Олега Борисова, потому что мы работали в паре и его заразительности, обаянию, очаровательной легкости

невозможно было не подчиниться. И Павла Луспекаева за тот растерянный трепет в короткой парной сцене под его смеющимися, обжигающими глазами. И Сережу Филимонова помню с нежностью за чудную его улыбку, доброжелательность и терпение.

Владимир Александрович Нелли — актеры называли его Нелли-Влад — очень долго не выпускал меня на площадку, учтиво приговаривая: «Вы присматривайтесь, запоминайте». Репетировала Галя Будылина. Она маленькая, хорошенькая, и ей уже тридцать лет. Ей не в первый раз приходилось играть девочек, а я представить не могла, как это я такая длинная, ужасно взрослая — и вдруг пятнадцать лет. Изо дня в день сидела и присматривалась и однажды сама себя услышала: «Это совсем не так». Тишина, долгая. «Тогда покажите, как», — сказал Нелли-Влад. Я попросила пять минут на переговоры с партнером по сцене Сережей Филимоновым, что-то нашептала ему в уголочке, и мы показали. С тех пор я стала репетировать в строгую очередь.

А потом пришел Михаил Федорович Романов и разнес меня в пух и прах, переставил мизансцены и попросил Олега Борисова гонять меня по сцене, перепрыгивая кусты, заборы, скамейки, пролезать в узкие щели. Олег устроил мне такой бег с препятствиями, что совершенно некогда было чувствовать себя ни взрослой, ни ребенком — лишь бы успеть увернуться, лишь бы не догнал. Мы играли брата и сестру. Бег принимался на «ура».

На премьере мне устроили боевое крещение. Смотрю на Олега, на Луспекаева, а они косые; перепугалась до смерти, весь первый акт дурачились, как только спиной к зрителю, так и косые, думала, с ума сойду, а им смешно.

Зато какие искренние, теплые поздравления! Вынырнув из закулисного полумрака, я попала в сияние Володиных глаз. Приехал!!!

Москва — Киев, Киев — Москва, чаще поездом, иногда самолетом мчались мы на короткие свидания, радуясь нечаянно выпавшим свободным дням и случайным приработкам.

Олег Борисов привел меня на студию научно-популярных фильмов и на киностудию имени А. П. Довженко, где мы озвучивали фильм о старшеклассниках, договорился о передаче на телевидении. Эти небольшие заработки превращались в большую радость — билеты в Москву. Как добывал деньги Володя, я не знаю, вероятно, ночные съемки в массовках, возможно, и вагоны разгружал, и Евгения Степановна подбрасывала. Какое же было счастье, когда появлялся никогда не унывающий Высоцкий в неизменном пестром пиджачке, сияющий, смешной. «Здрасте, мое почтение, и от Вовки нет спасения. Я

приехал вас развеселить. Зухтер парень я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно браво бить!» — его входная ария.

Однажды он должен был прилететь утром. Я в крахмальном белом платье, в полном параде красиво села на крыльце служебного входа — встречать. Я сидела до вечера отупевшая, застывшая, и когда в сумерках показался Володя, я уже не могла шевельнуться. А всего-то и надо было позвонить в аэропорт и выяснить, что с рейсом. Если Володя успевал предупредить меня о приезде, я шла в дирекцию и заказывала ему пропуск. Когда же он приезжал внезапно, приходилось умолять вахту или пробираться потайными ходами.

Новый, 1959 год встречали мы вместе с Лешей Одинцом и его подругой в круглом ресторанчике «Чайка». Потом «Чайка» превратилась в «Лейпциг», и стали там кормить супом из бычьих хвостов и пресными клецками, и мы больше туда не ходили. А Новый год прошел замечательно. Все были отчаянно молоды и до утра отплясывали «семь сорок».

Сплошное ожидание. Киев. 1959 год.

Реликвией репертуара был «Живой труп» Л. Толстого. Шел он редко, раз в два месяца. Билеты раскупались в первые дни, как только появлялась афиша. Я спешила к главному администратору Стебловскому, который, как говорили, мог все на свете, и смиренно просила пропуск в директорскую ложу. Только там разрешалось актерам смотреть спектакли. Находиться среди

зрителей — злостное нарушение театральной этики.

Я любила Федю Протасова весь спектакль всем сердцем и всякий раз плакала в темной ложе от восхищения и горькой жалости.

Только один раз видела я в роли Лизы актрису Кириллову, жену Луспекаева. Она недавно родила девочку и потому играла мало. Это была прекрасная Лиза — достоинство, благородство, душевный такт и дивный грудной виолончельный голос. Все, все мне в этом спектакле нравилось: и пели замечательно, и Е. Метакса лихо плясала цыганочку. И вдруг она заболела, и меня стали вводить в спектакль. Нужно было петь в хоре и не испортить двадцатилетней слаженности, а потом после «Невечерней» — плясать. Боже, как нарастал ужас! Приехал Володя для поддержки. Он видел, как дрожали мои колени. Я пыталась удержать их руками — руки тоже начинали дергаться и зубы стучать. Как плясала — не помню, не знаю. Посадил меня Михаил Федорович на колено, обнял и тихонечко сказал: «Ну вот, дурочка, а ты боялась». Метакса поправилась, и пришлось расстаться со смоляными косами и жгучими бровями.

Но я была очень рада, что Володя видел мой любимый спектакль.

Довелось мне вводиться и в другой хранимый долгие годы спектакль — «На бойком месте» Островского. Там покорителем сердец был народный артист УССР Михаил Михайлович Белоусов. Он был так хорош, ловок, легок и обаятелен, что совершенно забывался его уже солидный возраст.

В этот раз я заменяла заслуженную артистку УССР А. Столярову, игравшую Аннушку. Ввод был серьезный, репетировали основательно, и все бы ничего, да вот только Аннушка поет прекрасным голосом, и все восхищаются, а я певица никакая.

Пригласили солистку оперного театра. Меня поставили спиной к зрителю, будто в окно смотрю, а ее за окном, так, чтоб никто не видел. Она поет, а я вид делаю. Накануне спектакля пришел на прогон Михаил Федорович, посмотрел, поблагодарил певицу и попросил больше не приходить. От окна меня отвел, посадил рядом с гитаристом и велел петь «Пела, пела пташечка, да замолкла». Послушал, улыбнулся укоризненно: «И это все, что ты можешь? Будешь петь сама. Репетируйте», — и ушел. И я пела, только, как говорили прибежавшие поздравлять меня актеры, «уж очень по-цыгански». Они были уверены, что пела оперная певица. Чего не сделаешь со страха.

Была большая гримуборная для молодежи: Г. Будылина, А. Роговцева, пришедшая после Киевского театрального

института чуть позже меня, Е. Деревщикова, И. Захарова, Г. Жирнова, Е. Герасимова и я.

Компания была дружная. Колокольчиком звенел смех шустрой, ясноглазой Кати Деревщиковой, Галя Будылина уморительно рассказывала о семейных радостях и ссорах. Ада Роговцева восхищенным полушепотом доверяла нам радости и муки своей любви…

После спектакля все спешили по домам, и в театре оставались только сторожа и я, а где-то в другом крыле здания с крошечной дочкой жила семья Луспекаевых. Тихо. В коридорах синий свет. Я писала письма, учила роли, ждала звонка.

Сцена из спектакля А. Чехова «Дядя Ваня». Народный артист СССР Михаил Федорович Романов и я. Это незабываемо. Киевский театр им. Леси Украинки. Киев. 1960 год.

Я никому не могла рассказать, что то, о чем мечтала, чего так ждала, случилось и не принесло радости. Когда стало ясно, что будет ребенок, смятение и страх обрушились на меня. Я только приехала, живу в театре, официально замужем за одним, а люблю

другого и жду от него ребенка! Все было стыдным, ужасным, неразрешимым. Метнулась в Москву. Вместо одной боли стало две. Мы смотрели друг на друга потрясенные, потерянные, и страшно было видеть боль и беспомощность Володиных глаз. Мы не знали, что делать.

В то утро навстречу шли только счастливые беременные женщины, обгоняли детские коляски, а я почти бежала, боясь встретить чей-нибудь взгляд. Через десять дней я вышла из больницы, получила десять писем и две телеграммы от Володи и снова начала жить.

«Комедия ошибок» Шекспира. Распределение ролей: в эпизодах заняты Г. Будылина, Е. Деревщикова, А. Роговцева, И. Жукова и т. д. Двенадцать актеров — двенадцать слуг. Мы поем, танцуем, передвигаем мебель — украшаем спектакль. На главные роли не подходим — слишком худые для эпохи Возрождения. Мы довольны. У меня даже сольный танец с розой в зубах. Но когда уже вышли на площадку, меня выдергивают из веселой компании, и я становлюсь Люцианой через раз — раз заслуженная артистка УССР О. Овчаренко, раз я. Люциана не получается ни у кого. Гораздо интереснее бегать служанкой, тем более что в отличие от главных героев нам сшили костюмы из тарной ткани, расписав ее охро-коричневым узором, и когда установили свет, мы оказались в золотых нарядах, а настоящие парча и бархат померкли. И прическу для Люцианы сделали дурацкую, и партнера Антифола Эфесского и Сиракузского — А. Решетникова боюсь, и нет у меня сцен с Дромио — восхитительным Олегом Борисовым.

В один из спектаклей спускаюсь на сцену, как положено, за одну картину до выхода, и вдруг на моем пути — Михаил Федорович Романов, берет за руку и вводит к себе в гримуборную, которая почти у сцены. Себе наливает рюмочку коньяку, мне — бокал шампанского и приказывает: «Пей!» Я опаздываю на выход, а он знать ничего не хочет, глаза хитрые и не выпускает. Слышу, подходит моя реплика, залпом выпиваю шампанское, опрометью на сцену, влетаю как угорелая, а из суфлерской будки несется: «Браво! Брависсимо! Великолепно! Гениально!» Полуобморочное состояние, волшебный бред. За кулисами режиссер спектакля Нелли-Влад говорит: «Наконец-то получилось!»

Оказывается, наш суфлер, который никогда не суфлировал, но всегда был в будке, в танковых наушниках слушал трансляцию концерта Вана Клиберна и не мог сдержать своего восторга. А вот зачем Михаил Федорович поил меня шампанским?.. Но что-то осталось от этого сумасшествия, и роль задышала.

Прилетал на кинопробу Жора Епифанцев, привез мне от Володи белую двухэтажную с золотыми кисточками коробку конфет. Потянешь за кисточку — выдвигается ящичек с шоколадным чудом. И сама коробка — глаз не оторвешь.

Из Риги прилетала Рита Жигунова в немыслимой шляпке. Счастливая, только что снявшаяся в кино, очаровательная. Ей очень понравилась моя ситцевая комната с каштаном. Мы обедали в ресторане «Украина» и чувствовали себя центром вселенной.

Главной, любимой на всю жизнь стала роль Сони в «Дяде Ване» Чехова. Вокруг народные и заслуженные. Белла Павлова и я репетируем Соню. Мы начинающие, только она начинает давно, а я всего второй год.

Вернулась. Москва. 1960 год.

Приезжают из Москвы режиссеры. Один предлагает два белых рояля на сцене, другой — чтоб весь спектакль под гитары. Народные слушают, торжественно молчат и отправляются в дирекцию. Ждем следующего режиссера. Наконец Михаил Федорович, он же дядя Ваня, начинает репетировать сам. Я опять сижу и учусь у старших. Белла всякий раз говорит Михаилу

Федоровичу, какое счастье с ним работать, и преданно заглядывает ему в глаза, а я тупо молчу. И потому она репетирует, а я «учусь».

Пришла на репетицию Мария Павловна Стрелкова, красавица, бывшая героиня театра, жена Михаила Федоровича. Теперь она тяжело больна, не работает и редко бывает в театре. Она-то и спасает меня. Во время репетиции певучим голосом: «Миша, а что же Иза не репетирует? Ну что же ты, иди!» — «Иди, раз говорят», — смеется Михаил Федорович. Именитые, прекрасные, блистательные «старухи» Валерия Францевна Драга-Сумарокова и Лидия Павловна Карташева помогают мне удивительно тактично, и Мария Павловна стала заходить почаще и подсказывала очень точные вещи, и Михаил Федорович сменил гнев на милость. Но что-то ускользает, а что?

Купили для спектакля старый, старинный шкаф-буфет, резной, с толстыми гранеными стеклами в дверцах, фигурными ручками. Иду ночью через темную сцену в подвал, где находится душ, и чувствую запах, запах другой жизни, тревожный и манкий. Иду по запаху и упираюсь в шкаф. Долго стояли мы, как будто беседуем. Утром на репетиции встречаемся друзьями. Мне кажется, шкаф стал мне помогать, и знаменитая сцена с Астровым у шкафа обрела душу.

Приезжал Володя. Ему очень хотелось посмотреть репетицию, но это не позволялось, и тогда он пробрался на балкон и затаился. Посреди репетиции Михаил Федорович гневно: «Кто там?» Володя встает и спокойно говорит: «Пока никто». Ему было разрешено остаться.

Володины приезды — короткие, жадные, родные. После той страшной больницы я уже знала, что и он может быть беспомощным, и не могла смириться с этим, но я любила. Пока он рядом, ничего не страшно, пока он рядом…

Приближалась премьера. Я тайком спускалась ночью на сцену постоять у шкафа, погладить его и пошептать: «Он ушел…»

И вот уже в расписании сдача и премьера. Я играю сдачу — это самое страшное. Приглашаются актеры всех театров, студенты театрального, руководство всех и вся, журналисты. Рецензии выходили до премьеры. Дядя Ваня — Михаил Федорович Романов, Елена Андреевна — Литвинова, няня — Карташева — так искренни, просто забываешь, что ты на сцене, и умираешь от желания понять, помочь. Дядя Ваня такой большой, такой красивый, гордый — и такая боль в глазах, потерянность — если бы можно было заслонить его от всех бед.

И что же делать, если Елена Андреевна так хрупка и прекрасна, что конечно, конечно только ее и должен любить

Астров.

И как хочется верить, что увидим «небо в алмазах», пусть не мы, но кто-то после нас непременно будет счастлив.

Я все любила: и темно-синее платье с тонким белым кружевом по вороту, и гладко прибранные в косу волосы, и няню, и шкаф, и невыносимого отца, и хлопоты по хозяйству. Об Астрове, про любовь к нему даже вслух не произносится.

И случилось. Вышли две рецензии, и так хвалили, так хвалили, что Михаил Федорович перестал со мной разговаривать. А я услышала, как на улице кто-то сказал: «Жукова, смотри, Жукова прошла», смутилась ужасно, заняла денег и купила новое пальто.

Опять разлука. Ростов-на-Дону. 1961 год.

А у Володи был четвертый курс. Мне удалось посмотреть «Золотого мальчика», «Свадьбу» и «На дне». Везде небольшие характерные роли: Бубнов в «На дне» был очень хорош, и мы с Ниной Максимовной поддразнивали его: «А ниточки-то гнилые».

Да и всё, что бы Володя ни делал, было живо, заразительно. Это главное. Никому и в голову не приходило, что острохарактерный эпизодический актер станет Гамлетом и народным кумиром.

Что-то нужно было делать с нашей московско-киевской жизнью. И прежде всего меня нужно было развести. А как? Полагалась публикация о разводе в газете — очереди по нескольку лет; суд по месту жительства ответчика, а это Таллин, и сам суд — дело нескорое.

Только всемогущий Стебловский мог помочь с газетой. Иду, прошу, едва дыша получаю записку к главному редактору, а через день-два — газету с публикацией, просунутую под дверь.

Остальное берет на себя бабушка Ирина Алексеевна. У нее клиентка — театралка и народная судья. Письменно умоляю Юру прислать мне соглашение на развод. Получаю длинное оскорбительное письмо и короткую нужную телеграмму. Был скорый суд на украинском языке, мало что поняла, но мне сказали по-русски, что свободна и сумму выкупа.

Мечутся наши письма между Москвой и Киевом, вымаливаются дни — слетать, хотя б на миг. Подаем заявление в ЗАГС.

Я подаю заявление об уходе из театра. Михаил Федорович говорит, что я полная дура. Осенью наши гастроли во МХАТе. Я сыграю Соню, и мне дадут орден. И вообще уходить нельзя, но Володю он не возьмет, хотя об этом не было и речи. Директор В. Мягкий дурой не называет, а предлагает отдельную квартиру и повышение оклада. Ну что за ерунда?!

Мы снова будем вместе за ширмой, будем вместе засыпать и просыпаться, чудесно ссориться и чудесно мириться. И снова Володя будет носить меня на руках вокруг стола и дарить мандарины. Не надо квартиры, не надо ордена — долой разлуку!

Бракосочетание назначено на 25 апреля. Какая теплая была весна! Цветов никаких, только подснежники. У нас не будет свадьбы, ну зачем? Ведь мы и так давно муж и жена. Позовем Володечку Акимова, Гарика Кахановского, Аркашу Свидерского и славно посидим в ресторане, как солидные люди, если получится.

Но Семен Владимирович из Ленинграда (он что-то сдает или

учит в военной академии) приказывает: «Свадьбе быть!» Нина Максимовна отмывает акимовскую комнату, как самую большую, и даже обнаруживает в коридоре раздвижной стол о шести ногах, но Семен Владимирович из Ленинграда приказывает: «Только в моем доме. На Большом Каретном».

Собираются срочно родственницы Евгении Степановны, и готовится пир на весь мир. Времени совсем чуть-чуть. Мчит меня Евгения Степановна на улицу Горького в магазин «Наташа», и начинают мне в примерочную носить замечательные платья. Вот прелестное белое, простое и нарядное, шелковое. «Берите, берите — оно вам очень идет», — говорит заглянувшая случайно покупательница. Но оказалось, это и не платье вовсе, а то, на что платье надевается. Само же платье пышное, скользяще-шелестящее, кремовое в палевых розах — перлон! Я как клумба. «Берем!» — решает Евгения Степановна.

Тамара в спектакле «Белые ночи». Ужасно хочу быть стервой. Ростов-на-Дону. 1961 год.

Накануне свадьбы Володя отправляется на мальчишник в кафе «Артистик». Его нет и нет, лечу спасать. «Изуль, я пригласил всех, но кого, не помню».

Теплым, солнечным апрелем 25-го числа 1960 года в рижском ЗАГСе… С трудом удерживаю охапку подснежников, подходит забавный парень и нахально говорит: «Невестушка, поделись цветочками с нашей невестушкой!» Я делюсь, мне не жалко, нам смешно. Наши свидетели — Володины однокурсники — Марина

Добровольская и Гена Ялович. Они тоже влюбленные и смешные. Нас вызывают. Грянул марш из «Укротительницы тигров», и мы, давясь смехом, входим в торжественную комнату, и торжественная женщина нам вещает: «Дорогие товарищи, крепите советскую ячейку!» Нам становится совсем смешно. Нас быстро приглашают расписаться и объявляют мужем и женой. Отныне я — Высоцкая.

Вечером крошечная квартирка на Большом Каретном забита до отказа. Мы с Володей оказались на подоконнике. Расходились на рассвете. Шли с Ниной Максимовной пешком, дурачились и никак не могли угомониться.

Оставалось всего-то ничего — устроиться на работу.

Володя хотел, чтобы мы непременно были вместе, в одном театре. Где-то в конце мая я снова приезжала из Киева по вызову Бориса Ивановича Равенских. Он готов был взять и Володю и меня в театр имени Пушкина и хотел со мной познакомиться.

Ощущение позднего московского утра, когда Володя вел меня на встречу с Равенских, очень живуче.

У меня сильно болела голова. Мы купили прямо на улице жесткие кислые яблоки. Я грызла их, и мне становилось легче. Москва была веселая, шумная. Мы шли пешком, за руку — значит, я была на каблуках: когда стараниями Володи у меня появились туфли-тапочки, он держал меня за шею, как было принято тогда.

Равенских егозил, ёрничал, цинично острил, взмахивал руками и покрикивал: «А ну, пройдись, а ну, встань так, а ну, встань эдак!» Отпустил неприличную шутку, и я сказала ему, что он хам. Этого он мне не простил, а я не простила Володе того, что он промолчал. Я ничего не умею прощать любимым. Вопрос о моей работе перенесся на осень. Я должна была формально принять участие в конкурсе.

Играю последний спектакль «Дядя Ваня». Вещи мои уложены — чемодан, тюфячок, увязанный веревками, Володины письма в посылочном ящике. После спектакля сразу на поезд.

Мы плакали с Михаилом Федоровичем не по сцене, а потому, что не выдерживали глаз друг друга; щемило сердце, и слезы сами лились ручьем. Михаил Федорович все гладил меня по голове и тоже стряхивал слезы. Накануне я была у них дома. Он сам велел прийти. (Сколько раз они с Марией Павловной приглашали меня. И Маша, кудрявая девочка-подросток, их приемная дочь, тянулась ко мне. А я невежественно стеснялась, мне было неловко переступить порог великих.)

Михаил Федорович подарил мне свою фотографию с трогательной надписью и называл меня то Соней, то Аней — он

не любил моего имени.

Актеры подарили букет печальных темно-красных роз, и Алеша Одинец повез меня на вокзал. Встречай, Волк, — еду навсегда!

Встречал меня Акимыч. У Володи был дипломный спектакль. После его выпускного вечера едем в Горький, где этим летом шли съемки «Фомы Гордеева». Жора Епифанцев, Володин однокурсник и друг, играл Фому, а Аллочка Лобецкая, курсом старше, — Любовь Маякину. Мы побежали к ним, но Аллочка была больна, съемки приостановились. В группе настроение было тяжелое — все понимали, вряд ли Аллочка поправится. У нее была лейкемия.

Володя, Жора и мы с Наталкой на речном пароходике по прозвищу «Финляндчик» отправились в «Великий враг» (местные жители говорили, что потерялась буква «о» — был «Великий овраг»), место необычайно красивое. Правый берег испещрен глубокими, густо заросшими оврагами, а левый стелется ровно и неоглядно. Место диковатое, с дурной славой — многие тонули: Волга здесь широкая, полноводная, с сильным течением.

Завороженные далью ребята решили плыть на другой берег. Я испугалась, запричитала и восстала. Нам с Наталкой было велено сидеть смирно, смотреть и не мешать мужикам совершать подвиги.

Вот уже и не видно взмахов рук, две головы, превратившись в точки, все дальше и дальше. Лениво протащилась длинная баржа. А где ребята? Шли пароходы, тянулось время. Мальчишек не было. Стало страшно и холодно. Наташка, маленькая, просит есть: «Если они утонули, что же нам, помирать с голоду?» И тут вижу их. Володя и Жора переплыли Волгу. Их сильно снесло течением, и обратно ребята уже вернулись в лодке. И вот они идут берегом; усталые-усталые, счастливые-счастливые. Мир прекрасен.

В тот год мы были очень дружны с Жорой и его женой Лилечкой Ушаковой-Шейн, балериной Большого театра. Они были невозможно разные: утонченная, бледно-холодная и очень милая Лиля и пышущий здоровьем, громкоголосый неуемный Жора.

Лиля только что вернулась из гастрольной поездки в Америку; привезла замечательные книги, яркие, глянцевые, невиданные у нас афиши и программки и тихую сонную усталость. У них уже была квартира в недавно выстроенном доме Большого театра рядом с Эрмитажем. Она была совсем пустая. Жора расписывал стены. В кухне во всю стену масляными красками уже была изображена обнаженная восточная красавица, вместо одной груди у нее была спелая, сочная груша, а вместо

другой роскошная кисть винограда. К сожалению, я не увидела завершения живописных работ.

Из Горького пятеро суток возвращались настоящим пароходом. Он плюхает огромными колесами и взбивает темную, упругую, похожую на яблочную пастилу воду в ослепительно белую пену. И медленно плывут берега. Солнце пекло нещадно, пахло горячим деревом, а по ночам наступала прохладная благодать. Караулили закаты и рассветы, слушали влажную ночную тишину и видели, как просыпаются снежные лилии и желтые кубышки.

Ко мне приехала бабушка. Мне кажется, мы чуточку похожи. Ростов-на-Дону. 1962 год.

Осень шестидесятого — сплошные огорчения. Из Киева пришла телеграмма с просьбой вернуться, но Равенских морочил нам головы, и я отказалась. Конкурс прошел. Мы с Жорой играли чеховского «Медведя» — все поздравляли. Странно. Мы попытались что-то сыграть с Володей, но у нас ничего не получилось, как не получалось танцевать или на людях быть рядом…

Все поздравляли, а в списках принятых меня не оказалось. Начались мои безработные муки. Володя маялся. Он получил обещанную ему центральную роль в «Свиных хвостиках», верил, что сыграет, фантазировал, но ему не дали даже репетиций.

В конце концов ходил Володя из кулисы в кулису с барабаном в массовке. Позже сыграл Лешего в «Аленьком цветочке». Вот, пожалуй, и все. Было горько. Мы так наивно верили в святое искусство.

В пушкинском театре у Володи была заступница и покровительница — он ее очень любил, говорил о ней с нежностью, иногда провожал домой. Приходил осиянный. Я ревновала — Фаина Георгиевна Раневская! Володю не раз увольняли. Фаина Георгиевна восстанавливала.

Этой же осенью Володя снимался в «Карьере Димы Горина». Я отчаянно трудно переносила безделье.

Около полугода жил у нас племянник Нины Максимовны. Подростком, оставшись сиротой, он попал в колонию, много намыкался и настрадался. Больной туберкулезом, тихий, славный, он нашел в Володе жадного душевного слушателя. Спать его устраивали на кухне, и там по ночам он изливал Володе душу, тихонечко пел тюремные жалостные песни и подарил сделанные из газеты и воска тюремные карты. Потом он получил крохотную комнатку. Был несказанно рад. Нина Максимовна помогала ему налаживать быт, помогала чем могла. Мы ходили к нему в гости на семейные чаепития.

Коля очень любил Володю и пережил его всего на месяц. Умер он в больнице. Перед смертью попросил Семена Владимировича подарить ему зажигалку. Семен Владимирович успел отвезти ему зажигалку из своей коллекции.

В этом же году был у нас проездом на свой возлюбленный Север Володя Матвеев — сын бабушкиной сестры тети Лены. Я восхищалась им с детства. Для меня он был бесстрашным покорителем пространств и сердец, отчаянным юмористом,

музыкантом на всех доступных инструментах, включая стаканы и ложки, художником и поэтом Севера. Но самое главное — он был подводником. Он приезжал в Горький в черной форме с кортиком и разными женами — и все они были королевы. За три ночи два Владимира уговорили страшное количество коньяку, ничуть не пьянея. Оба счастливые, неугомонные, они не могли наговориться. Расстались друзьями. Больше нам не суждено было встретиться.

Через много-много лет меня нашел внук тети Лены Алеша Матвеев и познакомил со своим двоюродным братом Юрой Матвеевым — сыном Владимира Карповича Матвеева. Он живет в Мурманске, и теперь у меня есть фотография северного сияния.

Если бы, Володя, ты знал, как рвалось мое сердце, когда я слышала «Спасите наши души!».

Сын прослужил десять лет в Видяеве на подлодке. Капитаном 3-го ранга вернулся он к сухопутной жизни.

Ниночка Ярцева — задушевная подруга и театральные дети — прекрасная компания Ростов-на-Дону. 1962 год.

Надо мной взяла шефство Гися Моисеевна. Я стала осваивать уроки семейной жизни. Гися Моисеевна была милым, наивным и мудрым человеком и охотно делилась своим опытом — «Если хочешь о чем-нибудь попросить мужа, делай это после обеда,

постарайся, чтоб он был вкусным, дай мужу немного отдохнуть и проси ласково. Если муж стал задерживаться на работе, пригласи гостей. Пусть у тебя будет весело, а когда он придет, удивленно, радостно спроси: „Ты уже пришел?“ Старайся не брать денег в долг сама, пусть это будет мужской заботой…» и многое, многое другое, что не пошло мне впрок.

На нашей длинной узкой кухне училась я готовить кисло-сладкое жаркое, фаршированный перец, мясной рулет и убедилась, что из одной курицы можно приготовить самое малое пять блюд.

Часто собирались Мишины товарищи-кавээнщики: А. Аксельрод, С. Муратов, А. Донатов. Они придумывали различные домашние задания и всякие конкурсы, и когда Володя был дома, он с живейшим интересом присутствовал на их посиделках. Им всем было за тридцать, и относились мы к ним уважительно, как к старшим.

А еще у Гиси Моисеевны была тайная и явная гордость — пальто с чернобуркой. Его подарил ей Миша. Носилось оно только по торжественным случаям, в остальное время висело в шкафу, завернутое в белоснежную простынь. Когда мы ожидали своих мужчин и нам бывало грустно, Гися Моисеевна рассказывала мне о своей сказочной молодости в Прилуках. Как в темных ее кудрях была бархотка цвета персидской сирени, а воротник был «Мария Стюарт», и как она, младшая Гофман, получила медаль за красоту, и как влюбленный летчик грозился разбиться и однажды пришел весь забинтованный… А потом, вздохнув, кто-нибудь из нас говорил: «Давай посмотрим чернобурку!» Пальто торжественно доставалось, бережно снималась простыня, и мы замирали в почтенном восхищении.

Когда Володя звонил через каждые пятнадцать минут и уверял, что сей миг приедет, к телефону подходила Гися Моисеевна, и я слышала, как она говорит: «Вовочка, Изочки нет. Она оделась, как экспонат, и куда-то ушла». Обзвонив моих подруг, Володя мчался домой. Однажды влетел запыхавшийся и радостно сообщил, что страшно обманул шофера — расплатился свитером, а тот был с дыркой.

У нас уже жила гитара. Простая, желтенькая, купленная на Неглинке. Они с Володей стали неразлучны. В любую свободную минуту он тянулся к ней, брал всегда бережно, настойчиво пробиваясь к тайне ее души и голоса. Мне кажется, он относился к ней как к живому существу.

Поначалу они с Володей пели сколько можно, и когда можно, и когда нельзя — тоже: «Ехал цыган по селу верхом, видит девушка идет с ведром, заглянул в ведро — там нет воды, значит,

мне не миновать беды». И бесконечное «ай-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ… — значит, мне не миновать беды». Я терзалась. Нас стало трое.

В студии все, особенно Володин курс, увлекались Булатом Окуджавой. В один из моих приездов из Киева мы слушали Окуджаву в студийной аудитории. Негромкий человек с гитарой владел нашими душами. «Был король, как король…» — душу щемит, как когда-то полвека назад, и «последний троллейбус» плывет старой лунной Москвой, и прогулки «по апрелю» дарят грустную радость вечного, безвозвратного.

Волк! У меня даже сочинился стих, недавно, когда я бродила по Москве и придумывала, что же подарить Нине Максимовне на девяностолетие.

Иза Высоцкая — актриса Театра дважды Краснознаменного Балтийского флота. Лиепая. 1970 год.

Каретному виднее — он Большой,
Но и Мещанская запомнила немало.
Она нас утром солнышком встречала

И на ночь укрывала тишиной.

По этой улице бродили мы апрелями,
Последний нас троллейбус подбирал.
Мы в Леньку Королева свято верили,
Веселый ветер нас в дорогу звал.

Студенческая шумная гурьба,
Гитары первые, нестройные аккорды,
Загадки жизни и ее кроссворды,
Все начиналось — Песня и Судьба.

Начались Володины съемки, и мы иногда «богатели» и могли приглашать друзей на званые пиры. А я, страшно сказать, проводив Володю на репетицию, еще немного повалявшись-понежившись, отправлялась завтракать в «Националь». В это время он был пуст. Меня встречали, усаживали, и я заказывала блинчики с творогом и кофе по-турецки.

После такого наслаждения шла к Тверскому бульвару и у театра имени Пушкина встречала Володю. В день зарплаты он настоятельно, всенепременно просил его встретить, вручал мне деньги, уверяя, что так полагается, потому как «хозяйка». И вот тут-то один за другим появлялись друзья-приятели и Володя поспешно говорил: «Изуль, как хорошо, что мы встретили Валечку (или Петечку), отдай ему, пожалуйста, я тут задолжал». К концу бульвара зарплата ощутимо таяла. Все равно было очень хорошо… Вот если бы еще была работа!

Мы предприняли попытку сменить пиджак в пупырышек на приличный костюм. Костюм был куплен. Темно-серый, нет, лучше — маренго или «мокрый асфальт». Он очень ему шел. Но только однажды нам с Ниной Максимовной удалось нарядить в него Володю. Он постоял перед зеркалом, сказал: «Здорово!» — и вернул костюм в шкаф, а «пупырышек» праздновал победу.

Купили и дюжину рубашек: в полоску, клетку, болгарских, ну просто замечательных. Их Володя любил, но часто уходил в новой рубашке, а возвращался в чужой, старой, и уверял, что совершил очень удачный обмен. Отношение к вещам у нас было простое — они нас не обременяли.

Любил Володя отправлять посылки в Горький — какой-нибудь продукт, хороший чай бабушке и что-нибудь вкусненькое для Наталки.

Когда не было Жоры и Нина Максимовна не уходила на

работу, мы сидели на Жориной половине и она рассказывала о Володе маленьком. Ей очень хотелось девочку, а родился басовитый мальчик. Нина Максимовна доставала из заветного уголка ботиночки — невесомые на ладони, рассказывала, какие у него были костюмчики. Ну, конечно, матросский — это обязательно, если у ребенка не было матросского костюма, то непременно был хотя бы матросский воротник. И у меня тоже был. Были и светлая прядка тончайших волос первой стрижки, и фотография — Володя в локонах.

Нина Максимовна преданно любила театр, прекрасно копировала Рину Зеленую и еще в коммуналке устраивала представления для детей. Она сама написала роман. Была самодельная книга с фотографией в шляпе. Я держала ее в руках, но попросить почитать не решалась, боялась, что там про Жору.

Смеясь, рассказывала Нина Максимовна, как в голодные военные годы маленький Вовочка помогал разгружать картошку в овощном магазине и за это получил несколько картофелин. К ее приходу с работы он приготовил совершенно несъедобные оладьи. «Съедобные, съедобные!» — думала я, и мне было до слез жалко маленького Вовочку. Рассказывала, как Володя с друзьями делились хлебом с пленными немцами, работавшими на стройке.

Мой сын — Глеб Высоцкий и я. Нижний Тагил. 1986 год.

Заботами Михаила Федоровича в конце ноября меня взяли на короткий контракт в Ленком. Туда только что пришел Борис Никитич Толмазов. Семерых актеров уволили по новоиспеченной

системе конкурсов и взяли на их место других, но уволенные восстановились по суду, а вновь принятые оказались в несуразном положении. А тут еще и я. На зимние каникулы восстанавливали старый спектакль «Новые люди» по роману Чернышевского «Что делать?». Меня вводили на роль Веры Павловны. Актеры были прекрасные: Геннадий Карнович-Валуа, Ирина Мурзаева, Елена Фадеева, но сам спектакль был уже старым. На него строем водили старшеклассников. Играли мы почему-то в помещении театра имени Ермоловой по два спектакля в день. Часто Володя тихо сидел на вахте, дожидаясь меня. Думаю, что спектакль не очень-то нравился школьникам. Только однажды, когда на моих словах: «Я задыхаюсь в этом воздухе» из-за кулис на сцену повалили клубы дыма, ребята были в восторге. Актеры продолжали плавать в дыму (в те годы дым как спецэффект не был известен). Никто не бежал спасаться. Зал ликовал. Занавес наконец закрыли, пожар потушили (в кабинете рядом со сценой загорелся диван) — спектакль покатился дальше, но едкий запах остался и веселье в зале тоже.

По окончании каникул мне предложили ждать весны. Весной обещали взять в Ленком.

Тяжело болела моя однокурсница Грета Ромодина. Ездила через день в Боткинскую, немного помогала ее маме, занималась своим нехитрым хозяйством.

У Володи в театре было все очень нескладно. Равенских он уже не верил, да и тот, взяв его в театр, тут же о своем обещании забыл. Отыграв массовку в «Хвостиках», стал Володя иногда запивать «энто дело» рюмочкой, и, конечно, не одной. Однажды привезли его «бревнышком» и положили на кушетку. Оскорбленная до всех основ существа, сунула я босые ноги в туфли-лодочки, на ночную рубашку пальто — и в зимнюю темень. Забыла, как звали актера, одного из доставивших тихо спавшего Высоцкого, кажется, Виктор; он испугался за меня и повез к своей маме, у которой жил из-за ссоры с женой. Лицо его мамы, остолбеневшей в дверях, увидевшей меня полуодетую, всю в рыжих волосах, забыть невозможно. Она зарыдала и захлопнула перед нами дверь. На ледяных ступеньках пересчитали мы карманную мелочь, поймали машину, и я поехала к Акимычу. Там уже был трезвый Володя. Он поклялся, что «такого» больше не будет. «Такого» больше не было, но случаи возлияний (не в счет наши дружеские посиделки) хоть редко, но были. Как-то утром мы ходили вокруг стола: я от него, он за мной, настырно канюча «позволить шампанского», а я метала «громы и молнии», и вдруг он тихо и ласково сказал: «Изуль, только не сутулься». Шампанское купили.

А потом наступила абсолютная трезвость. Мы ждали ребенка! Мы так решили. Мы так хотели. И казалось, ничто не сможет разрушить нашей тихой, глубинной радости. Мы ждали.

Мимо нас прошло исчезновение Жоры. Его просто не стало, и что от этого кому-то может быть плохо, нам не приходило в голову. Нина Максимовна свои страдания прятала, а может быть, мы их просто не замечали.

Семен Владимирович, Евгения Степановна и я — Высоцкие. Москва. 1987 год.

К нашему сообщению о ребенке квартиронаселение отнеслось сдержанно, Гися Моисеевна с Мишей возобновили завтраки и обеды в нашей общей комнате — вот, пожалуй, и все.

Нина Максимовна уговорила нас ночевать в ее комнате: все равно она раньше всех уходит на работу, и нам будет спокойнее, и вообще, и лучше, и удобнее.

Переселение на ночь было недолгим и оказалось роковым. Не

помню ни единого слова, что кричала нам в то утро совсем другая Нина Максимовна — страшная и жестокая, не желавшая становиться бабушкой. Мы сидели в постели оглушенные, не смея встать, одеться, защититься. Потом все разошлись: Нина Максимовна на работу, Володя на репетицию, я во МХАТ на сдачу «Битвы в пути».

Какой-то черный провал — и снова больница. Я отвратительна сама себе, Володя пьет. Через много-много лет Акимыч расскажет, что Володя плакал у больницы.

Нина Максимовна вызывает почти истерическое отторжение. Пока я лежала в больнице, она сломала ногу, и когда в коридоре раздается стук ее гипса, меня начинает колотить лихоманка. Цепко вглядываюсь в Володю, сходство с матерью вызывает ненависть.

Спасительный звонок из студии. Сразу два режиссера из Ростова-на-Дону, сразу из двух театров — имени Ленинского комсомола и имени Горького — приглашают меня поработать у них.

Не зная ни того ни другого, очертя голову даю согласие. Бежать!

Лихорадочно собираюсь. На площади у новенькой станции метро «Рижская» мы кричим друг на друга — нет, неправда, Володя не кричит. Он просит, он умоляет остаться. Он считает, что я погибну, если уеду. Это я кричу не своим голосом, а потом говорю страшное, чем буду казниться всю жизнь: «Если я когда-нибудь пожалею, что уехала, мне достаточно будет вспомнить твою мать». Володино лицо становится серым, безжизненным. Мы молчим. Он не имел на это право. Он же сильный, смелый, веселый, легкий, прочный, ему ничего не сделается — у него нет права на слабость. И все-таки мы не расстаемся. Я уезжаю на время, поработать, прийти в себя. Я поеду всего на несколько месяцев: половина марта, апрель, май — а в июне уже отпуск, и я вернусь.

Ростов встретил меня ослепительным солнцем, цветущими звонкими улицами и двумя директорами на перроне.

В Ленкоме работала моя однокурсница и подружка Кариша Филиппова, и я решила быть с ней.

Поначалу меня поселили в гостинице «Дон». Володя звонил часто, под утро, часа в четыре, и вместо: «Здравствуй, это я» я слышала спешное: «Изуль, передай трубку!» Спросонок всерьез принималась растолковывать, что я одна и трубку передавать некому, и только тогда следовало: «Ну, здравствуй, это я», а я грозилась «передать трубку» в следующий раз.

Навалились срочные вводы и незнакомые мне до той поры

выездные спектакли. Меня укачивало в автобусах до бесчувствия, но все равно я усаживалась на заднее сиденье к молодежи и горланила песни, пока не свалюсь. Потом на полуторке с декорацией отгородили уголок, и, держась за борта, глотала я горький степной воздух, обгорала до волдырей, но мне нравилось мчаться навстречу ветру. И звучала яростная музыка, и сочинялись бешеные, дикие танцы.

Однажды я проходила пустой отдыхающей сценой. Из радиорубки текла тихая музыка, и я попробовала затанцевать. Музыка крепла. Вспомнилось балетное: «Держись за воздух!» — и полетела я в страну детства, пируэтов и пачек. Музыка смолкла — в кулисах стояли монтировщики, в зале — контролеры. Мои одинокие концерты повторялись, радисты просили: «Приходите. У нас хорошие записи».

Театр был совсем непохож на киевский. Здесь открыто кипели жестокие страсти и плелись жуткие интриги. На открытых художественных советах можно было услышать про себя такое, что дух захватывало, а за кулисами шептали на ухо: «А знаешь, что про тебя говорят?!» Но стоило кому-нибудь заболеть или у кого-то случалась беда — вчерашние враги-хулители прибегали первыми; мыли полы, мчались в аптеку, кормили с ложечки, утирали слезы и искренне признавались в вечной верности и бескорыстной любви. Нелепый, смешной и очень живой театр.

Зритель тоже был особенный. В театре имени Горького публика солидная, более сдержанная — у нас в Нахичевани могли и освистать, и крикнуть: «Закрой занавесочку!» — но уж если любили, то изо всех сил. Цветы дарились охапками, ураганно хлопали и топали и обожали и в театре, и за его пределами.

Меня приняли. Но каждый раз на сцену — как в ледяную воду, — кто кого?!

Почти каждый день бегала к Карише в ее большую комнату в «актерском доме», увешанную сохнущими пеленками. Иришка ползает по кроватке и мудро что-то сама себе рассказывает на универсальном детском языке. Уложив ее спать, мы часто ночи напролет смеемся и плачем над своими бабьими бедами, чаще смеемся или творчески мучаемся, обсуждая очередную репетицию.

Обуреваемая жаждой перемен, я извела на свою голову две пачки хны и превратилась в огненный факел. В художественном салоне отыскалась холщовая зелено-красная юбка с бахромой, пугающая даже отчаянную ростовскую молодежь с «Бродвея».

В таком варианте я отправилась в отпуск в Москву. Ужасно хотелось быть стервой.

Поезд приходил на рассвете. Я смотрела в окно, видела, как

бежит за вагоном Володя, и сама рванулась навстречу, слетев со ступенек прямо ему в руки. Становлюсь маленькой и беззащитной. Вижу огромные родные глаза так близко, что путаются ресницы, и слышу: «Вот это да! Смотрю, не понимаю. Два солнца — которое мое?»

Володя уже снимался в «713-й просит посадку» и мучился ненужностью в театре. В ту пору он часто упирался лбом в зеркало платяного шкафа, вжимался растопыренными пальцами в зазеркалье и надолго замирал.

Приехала на год — осталась навсегда. Нижний Тагил. 1991 год.

Ездила на несколько дней в Горький. Юранечка Ершов доставал контрамарки в Большой театр. Ходила, таяла и плакала

украдкой. Пленилась Катей Максимовой, Владимиром Васильевым, Марисом Лиепой. Танцевала во сне. Ждала Володю. Мы всё надеялись, что театральные дела Володи поправятся и все у нас будет замечательно. Остаться в Москве без работы, как ни уговаривал Володя, не могла и совершенно не умела ее искать. Володя врос в Москву. Их нельзя было разъять. Я понимала это и не понимала.

А в Ростове работы было столько, сколько сможешь. И центральные роли в театре, и телевидение, и театральное училище, где уговорила меня Кариша преподавать сценическое движение. У меня уже была своя огромная комната в доме во дворе театра.

Снова звонки, письма, приезды, ожидание.

Театр Пушкина приехал на гастроли. Я встречаю — нет Володи! «Твой на крыше», — говорят мне. И правда, он ехал на крыше вагона «для интересу» — это же здорово! Чумазый и сияющий. Ездили на выездные спектакли, каждый на свои. Когда Володя был свободен, ездил с нами.

Однажды выхожу на крылечко клуба, а Володю дед под ружьем ведет, поймал на месте преступления — пытался украсть самое лучшее совхозное яблоко. Сели они на приступочек, поговорили душевно — к концу спектакля грозный дед принес нам яблок на всю команду. Прощались, как родные.

На рассвете они улетают. Окно моей комнаты выходит на розарий. Душный изнемогающий аромат. Володя привез с выездного спектакля огромные гроздья черного пряного винограда. Предчувствие беды — обороняюсь злостью. Володино недоуменное, растерянное лицо. Умоляющие глаза. Мы вышли в еще серый предрассвет. Вот он пошел, сейчас обернется — я знаю, и тогда бросаюсь в дом и жутко чувствую, как взгляд его ударяется в пустоту. Зачем? Почему? Тогда мы не знали, что расстаемся. Напротив, мы строили планы покорения Ростова… и все было родное в нас.

Сколько лет прошло, а я все еще спотыкаюсь об эту пустоту.

Весной 1962 года на доске приказов висело распределение «Красных дьяволят» — одну из ролей должен был играть Володя. Вопрос о его приезде был решен. Позвонила Грета. Никогда не звонила и вдруг: «Абрамова ждет от Высоцкого ребенка! Ты должна знать!» Володя позвонил чуть позже, в тот же день, сказал, что прилетает. Я спросила: «Правда ли то, что мне сказала Грета?» Он врал, так убедительно врал. «Как прилетишь, так и улетишь», — сказала я. И поставила точку.

Ленком закрыли. Перешла в театр Горького. Выпускался спектакль «Свежий ветер» по пьесе местного автора, кажется, Суичмезова, что было тогда модно и очень полезно для карьеры. Театр должен был ехать с этим спектаклем в Кремлевский дворец. Я репетировала одну из ведущих ролей, но все бросила и уехала в Пермь. Уехала спасать актера, у которого только что умерла мама. Он страдал и поэтому пил, в Ростове для него работы не было, а вот в Пермь пригласили, и я, одна я, могла его спасти.

В далеком уральском городе. Нижний Тагил. 1990–1991 годы.

Больше не было писем. Редкие телефонные звонки — деловые разговоры с долгими неуютными паузами: «Прислать заявление в милицию, чтобы выписали? — пожалуйста. Выслать документы на развод — с удовольствием. Как я? — замечательно, прекрасно, лучше не бывает». И смеюсь, смеюсь, ни разу не спросила: «Как ты?»

Если бы ты знал, Володя, как мне было плохо!

Никого я не спасла. Я погибала сама. 4 августа 1963 года я родила девочку. Она прожила три дня и три ночи. Жить было незачем, но тот, кто был рядом, был еще слабее. Его надо было лечить, и еще надо было работать.

В конце августа — начале сентября, возвращаясь с гастролей Сочи — Краснодар, я была в Москве у Греты Ромодиной. Шла по Ленинградскому проспекту и вдруг затылком почувствовала взгляд. Оглянулась — никого. Я принесла взгляд домой, и тут же позвонил Володя — он видел меня из троллейбуса.

Вечером он приехал с Каришей Филипповой и привез мне песню «О нашей встрече что и говорить…». Клялся, что только что сочинил, Кариша божилась, что это правда. Я немного подулась и попросила написать мне текст; мне понравилось про «Большой театр» и не понравилось про «длиннющий хвост».

О нашей встрече что и говорить! —
Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий, —
Но мы с тобою сразу стали жить,
Не опасаясь пагубных последствий.

Я сразу сузил круг твоих знакомств,
Одел, обул и вытащил из грязи,
Но за тобой тащился длинный хвост —
Длиннющий хвост твоих коротких связей.

Потом, я помню, бил друзей твоих:
Мне с ними было как-то неприятно,

Хотя, быть может, были среди них
Наверняка отличные ребята.

О чем просила — делал мигом я,
Мне каждый час хотелось сделать ночью брачной.
Из-за тебя под поезд прыгал я,
Но, слава Богу, не совсем удачно.

И если б ты ждала меня в тот год,
Когда меня отправили «на дачу»,
Я б для тебя украл весь небосвод
И две звезды кремлевские в придачу.

И я клянусь — последний буду гад —
Не ври, не пей — и я прощу измену, —
И подарю тебе Большой театр
И Малую спортивную арену.

А вот теперь я к встрече не готов.
Боюсь тебя, боюсь ночей интимных.
Как жители японских городов
Боятся повторенья Хиросимы.

Блокнотный лист простым карандашом мелким почерком долго хранился у меня, пока не начался очередной приступ борьбы с прошлым.

На другой день мы за руки пошли подавать заявление на развод.

Я посылала тебе документы — ты говорил, что терял.

Бродили, оказались у дома, где жил И. Тарханов. Вспомнили, как сидели у него в длинной узкой комнате, пили кьянти из плетеной круглой бутылки из самой Италии. Помолчали, прижавшись, и пошли в официальное учреждение. Мы договорились, что я сохраню фамилию. В мае 1965 года пришла куцая бумажка с ладонь. Она известила меня, что «брак расторгнут». Она ни о чем не могла меня известить — я не верю казенным бумагам.

Софи в спектакле Ж. Пуаре «Парижский уик-энд». Я сама придумала и связала костюм. Мне нравится. Нижний Тагил. 1994 год.

И потом… у меня была другая жизнь, трудная, нескладная, и было огромное счастье — сын! Глеб родился 1 мая 1965 года, и если бы носил фамилию отца, то был бы Глеб Владиславович Май, но он только мой и носит мою фамилию — Высоцкий.

Володины песни звучали всюду. Я отмахивалась от них, как могла. Но однажды…

Однажды в Новомосковске на пустынной ослепленной солнцем площади на меня обрушились «Кони привередливые». Пораженная, застыла я на раскаленной площади, запоздало понимая трагическую глубину легкого, забавного мальчишки.

Летом 1966 года я была у мамы в Горьком с маленьким Глебом. Мы гуляли по набережной, пришли домой, в дверь постучали, открываю — на пороге стояла Нина Максимовна. Она путешествовала пароходом, увидела нас на пристани и пошла за нами. Примирение состоялось. Мы с Глебом провожали ее на пароход, стояли на берегу, махали в две ладошки. Нам вдвоем было замечательно, и чуть-чуть грустно мне одной.

С Володей мы встречались непредсказуемо, случайно. В 1967 году в шестиметровой Каришиной комнате на Земляном Валу. Я чахла от головной боли, житейских неурядиц. Сидела серая, никакая. Кариша влетела с сообщением: «Вот, Высоцкий три года не звонил и тут позвонил. Сейчас будет!» Я не шелохнулась. «Посмотри на себя в зеркало, — говорит Кариша, — Изуль, это чудо!» И точно, как будто кто-то волшебным ветром сдул с меня серую немочь — и глаза горят, и волосы в локон, и губы в мак, и сумасшедшая невесомость.

Володя пробыл недолго. У него была назначена встреча с Бернесом. Мы сидели рядом, не касаясь, едва дыша.

Летом 1970 года я позвонила в Черемушки на улицу Телевидения.[5] (Кто-то из однокурсников сказал, что Володя потерял меня с моими переездами и тревожится.) К телефону подошла Нина Максимовна и сказала: «Бери такси и приезжай». Я примчалась очень быстро. Дверь мне никто не открыл, растерянно стою на лестничной площадке. Вдруг вижу, по лестнице поднимаются Нина Максимовна и Володя. Володя несет коробки конфет. Никогда не видела его таким душевно измученным. Долго сидели за чайным столом. Говорили все больше обо мне, о моих проблемах. Нина Максимовна сказала о предстоящей свадьбе Володи с Мариной Влади. Я никогда не ревновала. Мне казалось, что все женщины должны быть с Володей счастливы. Я тоже была счастливой. Несмотря на то что у каждого из нас была своя жизнь и мы так редко виделись, я всегда чувствовала его присутствие. Приезжая в Москву, уже на

перроне я необъяснимо знала, в Москве Володя или нет.

Володя много пел. Я слушала, не слыша. Я видела Володю страшно усталого, разорванного, и мне было больно. Пришли два молодых человека, их молчаливое, неотступное присутствие было тягостно лишним. Поехали меня провожать. На одной машине мы, следом шла вторая.

Я что-то спросила о Марине. Володя сказал, что она очень хороший человек и очень много для него сделала. Еще Володя сказал, что репетирует Гамлета. Совершенно не поняла — зачем?

Приехали на Бауманскую. Володя хотел увидеть Глеба. Глебка спал. Володя постоял над ним, уговорились встретиться в начале сентября — ему предстояла поездка с концертами. В конце августа я уехала в далекий, никому не известный Нижний Тагил. На душе было тревожно. Мерещились ужасы.

Подмосковный июнь 1976 года был холодным и мокрым. Стыли березы, зябко топорщились молодые елочки.

Во дворе музея Владимира Высоцкого. В первом ряду вторая справа — Нина Максимовна, во втором ряду справа — я, Лидочка Сарнова, Семен Владимирович… уже нет Евгении Степановны.

Я жила на даче в Жуковке у подруги, похожей на грустного подростка, Надежды Сталиной. Мы познакомились в год, когда уехала из страны ее тетя Светлана Аллилуева, и Надежда, единственная носившая эту трагическую фамилию, была одинока, как само одиночество. В ее пустой квартире на Малой Тульской мы прожили недели две, поразительно быстро сроднившись. С тех пор в каждый приезд я останавливалась у Надежды. Менялись времена: в доме становилось то многолюдно и шумно, то снова возвращалась пустота.

В то лето был приток гостей. Компания была пестрая, больше театральный люд. Круглосуточно пили чай или водку, спорили, смеялись, пели. На столике у крыльца мокли грибы в мисочке. Гомонили птицы. Рыжим хвостом мелькала белка. Дремал у порога нескладный добрый пес. Отодвинув потайную доску в заборе, проникали званые и незваные гости. Всем хватало места и понимания. По утрам, отправляясь в ларек за продуктами, жевали хвойные лапочки, скусывая их с прохладных веток и, опрокидываясь в небо, просили солнышка.

Подчинившись томительному желанию, я позвонила Семену Владимировичу и услышала потрясающе знакомое: «Где ты пропадаешь? Через два дня Володя будет в Москве. Давай телефон».

Техника дурачит меня. До сих пор с суеверным страхом подхожу к телефону.

Мы не виделись шесть лет. Сверкающим утром позвонил Володя. Голос и солнце. Смех и солнце. Глупые, милые смешные слова: «Изуль, какие у тебя волосы! Какое платьице!» — «Волосы длинные, платье короткое. Волк! Волчонок! Волчека!» — «Завтра „Гамлет“. Утром „Гамлет“». — «Приеду! Приеду!» Ослепительное солнце. Все кувырком.

Дача всполошилась. Собралось вече. Все против — ехать нельзя. «Он на „мерседесе“, он из Парижа, он „всемирно известный“». Надежда смотрит на меня двумя огромными укорами. Все боятся за мое женское достоинство, человеческую гордость и за светлое прошлое, которое непременно рухнет от столкновения с настоящим. Но я уже в полете. Я не понимаю

простых русских слов.

Тогда начинают меня одевать. Тащат юбки, куртки, детали — отбиваюсь. Остаюсь в своих прекрасных брюках за пять рублей, теперь таких нет и уже не будет никогда, в свитере, на который пошли бывшие варежки, шарфики и прочий роскошный утиль. На крылечке, обжигая руки, Надежда яростно красит мои вопяще-красные туфли марганцем и йодом. Приходит вечер. Опять моросит. Мне заготовили замшевое пальто и японский зонтик. Провели инструктаж, как им пользоваться. Ночь не помню совсем. Утром меня причесывают, подкрашивают, ободряют, и мы едем электричкой с Феликсом Антиповым — он же могильщик в «Гамлете». Боже, как страшно. Мерзнут волосы и стучат зубы.

Мы приехали рано. Феликс ввел меня черным ходом в унылый, непроснувшийся ресторан, кажется, «Кама», волшебно исчез и волшебно появился с рюмкой водки и конфеткой-трюфелем. Спасибо, Феликс!

И вот я стою у служебного входа и жду голубой «мерседес». Я не умею различать машины, совсем не умею. Подходят бойкие, шумные люди. Вяло стучит редкий дождь. Японский зонтик не открывается. Потихоньку отрываюсь от толпы. Непреодолимое желание бежать. Проехало светлое, серебристое. В толпе закричали: «Владимир Семенович! Высоцкий! Володя!»

Нина Максимовна, ее подруга Соня, я, мои троюродные братья Алеша и Юра Матвеевы. Москва, Малая Грузинская. 25 июля 2003 года.

Володя почти выпрыгивает из машины, подбегает ко мне — за руку сквозь толпу вбегаем в театр. Оставив меня на вахте, он бежит дальше. Грозная вахтерша чинит допрос. Потерянным голосом оправдываюсь: «Я с Высоцким». Он снова рядом. Повесили пальто и зонтик. В руке у меня билет, и снова бег длинными переходами, и я уже знаю, что после «Гамлета» мы

едем в Коломну — там три концерта.

Фойе. Можно перевести дух. Хочется спрятаться и плакать тихо и долго. Взываю к собственному мужеству, вхожу в зал по кромочке неожиданно голой распахнутой сцены. Там у стены один, совершенно один Володя, и мне трудно и страшно пройти мимо, на минуту повернуться спиной, отыскать место. Слава богу, оно рядом у прохода. Странная пустота переполненного зала.

Нет сцены. Есть трагическое одиночество. Жажда жизни и вызов року. Страстная, пытливая, пульсирующая мысль. И гибель, которая не конец. Я не знала такого Гамлета. Я не знала такого Володю. Притихшая, вхожу я в означенную дверь с зеленым огоньком и жду. Проходит Феликс: «Он сейчас!» Володя появляется внезапно, и снова бег. С трудом отыскиваем «мое замшевое пальто и японский зонтик», впрыгиваем в маленький автобус, и он тут же срывается с места.

Мы вместе. Володя совсем как Володя, как двадцать лет назад, только темнее волосы и жестче рот. Мы пьем горячий черный кофе из термоса, жуем пахучие апельсины. За окном солнце. Володя спрашивает о бабушке, маме, Наталке, Глебе, обо всем и обо всех. Мы едем в Коломну. Какое счастье! Как жаль, что Коломна не на краю земли!

В городе афиши «В. Высоцкий, И. Бортник». Толпа огромная. Нас встречает милая женщина и обращается ко мне: «Вы Бортник?» Володя отвечает: «Она еще и Иван». Смеемся. Сквозь толпу до гримуборной, где заботливо приготовлены бутерброды, чай, кофе, пирожные.

Торопят с началом. «Какие, Владимир Семенович, просьбы?» — «Только одна. Устройте Изу поудобнее». На меня смотрят подозрительно и озабоченно и уводят от Володи в переполненный зал. С грехом пополам усаживают в центре дополнительного ряда прямо перед сценой. Володя выходит, я оказываюсь у него в ногах, запрокидываю голову, чтобы видеть его, и растворяюсь во всеобщем порыве любви.

Перерыв между концертами минут десять, не больше. Мы снова одни. По просьбе Володи к нам никого не пускают. Володя кормит меня, сам съедает несколько ломтиков колбасы, оставляя хлеб, прихлебывает кофе и поет мне одной то, что не может петь со сцены.

Второй и третий концерты я слушаю за кулисами, где мне поставили стул. Володя поет другие песни, почти не повторяясь, и ставит микрофоны так, чтобы мне было лучше видно. — «Тебе удобно?» — Я плачу, не пряча слез.

Растаял последний аккорд, отшумели аплодисменты. Охапки цветов не вмещаются в руках, но Володя собирает все до единого,

бережно поднимая даже оброненный цветок. Наверное, это примета или потребность благодарной души. На «Волге» нас довозят до Таганки, пересаживаемся в Володину машину и едем на Малую Грузинскую. Володя готовит мне кофе и ванну и оставляет одну. Сегодня свадьба Беллы Ахмадулиной. Он должен поздравить. Я едва успеваю расставить цветы, собрав вложенные в них записки, как Володя возвращается. Сыгран «Гамлет», отпето три сольных концерта, далеко за полночь. «Я тебя люблю», — сказала я. «Я тебя всегда помню», — сказал Володя.

Кажется, через день я смотрела «Вишневый сад». Лопахин совсем не Гамлет, но Лопахин-Володя так же пугающе одинок, не понят, не любим. И какой он жесткий в финале — мороз по коже. После спектакля Володя отвозит меня в Жуковку. С нами Сева Абдулов — «Изуль, ты помнишь Севу?» — Я не помню. Он сидит сзади так тихо, будто его и вовсе нет. Мы зависаем в скорости, как в самолете, только проносятся назад чужие машины. «Остановись, мгновенье!»

На этой же неделе шестидесятилетие Семена Владимировича.

Ты улетал на два дня. Застолье уже началось, когда появился ты.

Володя в черной лайковой куртке, нездешне французский, великолепный. Я метнулась на кухню, следом Володя. Я сказала: «Ты ужасно похож на черного таракана». Больше я ничего не успела сказать — мы целовались. В дверях стоял Семен Владимирович.

Потом мы ели почему-то из одной тарелки и тихо смеялись. А еще потом ты ушел на спектакль. Я уехала в Белгород на гастроли.

У Володи было много планов. Душа моя была спокойна. Мне снова танцевалось, и мир был молодым и прекрасным.

Летом 1981 года, перепутав улицы и переулки, я бежала к Эрмитажу. Там ждали мальчики, Акимов Володя и Аркаша Свидерский, друзья Володиного детства и нашей юности.

Конечно же Эрмитаж — постоянное место встреч; там бродит память, туда страшно шагнуть одной. Нас трое. Нас недолго смущают перемены. Мы снова молоды, нам хорошо, сейчас подойдет Володя и скажет: «Это я!»

«Где наши письма?» Нина Максимовна отводит глаза. Не слышит. И только однажды, незадолго до смерти, она сказала: «Мы их сожгли. Там было еще старое Гисино пальто».

Уже почти полвека прошло, как мы встретились, и больше двадцати лет, как тебя не стало. Но ни время, ни расстояние, ни смерть не отдаляют тебя. Все так же явственно ощущаю я твое живое присутствие.

Сначала меня уговаривали, потом я сама захотела попытаться доверить бумаге мое, а значит, и твое прошлое. Я люблю тебя.

Волк! А ты в это время жил в Германии с папой и Евгенией Степановной. Как часто, с какой нежностью она вспоминала это счастливое время: и как ты трюкачил на велосипеде, и как вы с мальчишками взрывали патроны в костре и чуть не погибли, и как ты уговорил ее купить высокие напольные часы с густым сладким боем. Потом они отбивали время на Большом Каретном, на Кировской…

И ты не был тогда Волком, ты был Вовочкой.

А ты, Володечка, уже вернулся из Германии и жил на Большом Каретном. В вашей мальчишеской компании еще не было девочек. Вы торчали в Эрмитаже, и, кажется, ты уже занимался в драмкружке у В. Н. Богомолова.

Очень неприкаянно было мне в Москве, Володечка.

Володя! Почему так нежно вспоминается собственная дурь?.. Господи, да просто потому, что тогда, в юной жизни рядом с тобой можно было дурачиться, капризничать, творить черт-те что — и чувствовать себя прекрасной, любимой, защищенной.

Володя, как с тобой замечательно было смеяться! Как легко!

notes

Примечания

1

Дом деда Максима Горького. *(Прим. ред.)*

2

Торжественный бальный танец, распространенный в Европе в XVI веке. *(Прим. ред.)*

3

До 1966 года станция метро «Проспект Мира»-кольцевая называлась «Ботанический сад». *(Прим. ред.)*

4

Степан Дмитриевич Нефедов-Эрьзя (1876–1959). *(Прим. ред.)*

5

Улица Шверника. *(Прим. ред.)*